ИВ. ШМЕЛЕВ

ИНОСТРАНЕЦ



ИЗДАНИЕ РУССКОГО НАУЧНОГО ИНСТИТУТА
при Русской Академической группе в Париже

ПАРИЖ
1962

И. С. Шмелев

Иностранец

Роман

Париж
1963

Из Архива-Музея Ивана Сергеевиче Шмелева
хранимого Ю. А. Кутыриной.

Herausgeber: Russisches Wissenschaftliches Institut in Paris
Druck: I. Baschkirzew Buchdruckerei, München-Allach,
Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

ВСТУПЛЕНИЕ

И. А. ИЛЬИН «ТВОРЧЕСТВО И. С. ШМЕЛЕВА»

Из книги «О Тьме и Просветлении»

стр. 154—155

Как у всех писателей, так и у Шмелева литературный стиль определяется строением его творческого акта. Это естественно и иначе не может быть: ибо стиль творится созерцающей душой и уклад ее не только «передается» стилю, но прямо создает его. Выбор слова, сочетание слов, строение фразы, акцент, ритм — все осуществляется и вылепливается творчески — писательским актом, в его, то неизменно устойчивом, то гибко-изменчивом строении.

Художественный акт Шмелева есть прежде всего и больше всего — чувствующий акт. Этим он отнюдь не исчерпывается, но это характеризует его основу. Другие слагающие силы — воображение, мысль, воля, чувственное ощущение, — могут преобладать друг над другом в отдельных произведениях Шмелева; чувство остается основополагающим всегда. И при этом оно достигает нередко такой силы и накаленности, что иные писатели наших дней начинают казаться после Шмелева холодными.

Создания Шмелева родятся из сердца, из горящего и переполненного сердца; — в отличие от холод-

ного и горького, чувственного мастерства Бунина; в отличие от мятущегося, самодовольного и нередко всеразламывающего воображения у Ремизова; и в отличие от холодно-живописующего декоратора Мережковского. Вот почему я с самого начала сказал, что человек с холодным сердцем и мертвым чувством — никогда не будет художественно жить вместе со Шмелевым. Достаточно раз прочувствовать ту тонкую, эмоционально-аффективную ткань, которую Шмелев развернул в одном из своих ранних романов — «Человек из ресторана», чтобы понять этот способ жизни и мироощущения. Это произведение с самого начала сблизило Шмелева с ранними же созданиями Достоевского — «Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные». Подобно Достоевскому, Шмелев чувством постиг жизнь человеческого чувствилища и страданием внял человеческому страданию. Раз научившись внимать ему, раз изведав болью эту стихию жизни, Шмелев совершает весь свой дальнейший художественный путь, — опять подобно Достоевскому, — не выходя из этого акта и из этой стихии, но поднимаясь в ее пределах к большей и большей духовной значительности.

Творя и показывая, Шмелев чувствует сам; он видит чувством, воображает из чувства и изображает чувствуя. И этот акт он передает своему читателю. Шмелев хорошо знает, что значит «видеть сердцем» и «говорить от сердца», и что шепчет «голос живущий в сердце»; он знает также, как страшен бывает человек, у которого «сердце ожесточилось» или у которого «Дух смерти вынул сердце». В сердце он находит и «свет разума»; и верует в «неисповедимое согласование» разума и любви. Отсюда он ждет и обновления людей и возрож-

дения человечества. Отсюда он ведет и *свое искусство*: «сердце свое слушай». Он творит «принимая сердцем», запоминая сердцем и освещая-освящая им все, чего касается. Он «постигает глубинным каким-то чувством»; он « понимает тоской»; и верит, что человек «страдающий неизмерно», «может чуять дальше этих стен видимых». Этим основным актом своим Шмелев пребывает в великой традиции *руского искусства вообще* и в частности русской литературы; в традиции Пушкина, сказавшего: «нет истины, где нет любви».

Примечание к «Иностранцу» (Ю. А. Кутырина).

В 1935 году здоровье Ивана Сергеевича улучшилось, после его чудесного выздоровления, которое он описал в своем рассказе «Милость преподобного Серафима» — Собрание рассказов «Из моей жизни», Чеховское изд. в Нью-Йорке.

В том же году Иван Сергеевич задумывает большой роман «Иностранец».

Герой Американец, около которого должна развертываться психологическая картина жизни русской эмиграции; в ней он хотел запечатлеть некоторых русских эмигрантов. Но в жизни писателя произошло великое горе — кончина жены (22. 6. 1936 года) и отдалило намеченный план.

9 февраля 1938 г. Schloss Holdenstein bei Chur (Suisse) где Иван Сергеевич гостит у своей швейцарской переводчицы Frau Dr. Candreia он пишет в письме:

«Впервые после кончины моей светлой Олечки, через 20 месяцев начинаю оправляться — не душой, конечно»... И он начинает писать давно задуманный роман «Иностранец» для «Современных Записок». Первые главы помечены — апрель и май 1938 г. Мировые события 1939 года нарушают всю жизнь и, по определению Ив. С. возвратившегося во Францию, начинаются «Суровые дни». Роман остается незаконченным.

ИНОСТРАНЕЦ

Во второй половине сентября сезон на Серебряном Берегу закончился.

В Биаррице еще шумели ночные кабаки и прочие заведения, где развлекали себя отдыхавшие от кипучих дел богатые иностранцы, — американцы англичане, шведы, аргентинцы . . . — разбухшие от войны и швырявшие деньгами без счета. В предутренний, неурочный час платили еще сотни франков за бутылку шампанского, просаживали в баккара миллионы за одну ночь и бросали боярышне-певице за грустно-лихую песню сотняжку франков «натшай». Еще докучивали стандартные Чарли-Фрэди, наследники чикагских свинобойцев, сапожных, хлебных и всяких американских королей, носившие на тяжелых лицах громкий отцовский титул — «сэльв-мэд-мэн», «сам-себя-сделавший», тянули неслыханные смеси разной опойной дряни, задирали коневьи ноги, орали певцам-казакам — «ан-кор . . . паматьюшка-паволга! . .» — и порой пьяно плакали над чем-то, растревоженные невнятной песней людей в «шэркэска». Но и здесь чадная буря утихала, — начинался подсчет доходов.

А в лесном городке у океана, в те годы еще негромком, с атласным пляжем, где воздух — сосна и море, — сезонное оживление заглохло. Убрали с пляжа веселые

палатки, прибрежные отели позакрылись, и баскские молодцы-беньеры посиживали в кафэ за своим бэлотом, резались у фронтона в мяч и вспоминали — врали забавные случаи сезона. Пустой океан подремывал,похлестывал в пенные берега. Над мыльно-зеленоватыми валами тянули свои цепочки черные нелюдимые бакланы. Одиноко на берегу чернела выброшенная сентябрским штормом безвестная шхуна „Mi Unica" — с пробитой грудью, крепко затянутая песком.

Последним закрылся розовый отель «Сосенки», Луи Пти Жако, по прозванию «Корнишон», — за пупырчатый лоб и низкорослость, — виноторговца-трактирщика из Бордо. Отель стоял на ударном месте, с вольным видом на океан, работал первый сезон и прославился «пляжем» на плоской крыше, — нововведение, которым хозяин особенно гордился и называл его — «верхний пляж», — для слабых и ленивых. Гордился и названием отеля — «Пти Пэн». Перед отелем росли три чахлые сосенки, пригнутые зимними ветрами, и получалась забавная игра слов» Пти Жако — Пти Пэн. Закрытие задержалось из-за того, что зажилась большая английская семья, очень почтенная, обещавшая и на будущий год вернуться и привезти другую английскую семью. Дела торопили его в Бордо, но из уважения к таким клиентам Пти Жако решил отложить закрытие. Семья, наконец, уехала. Пти Жако отпускал последнюю прислугу и собирался с женой в Бордо, как случилось одно событие.

Был свежий, яркий осенний день. Океан снежно пенился у песков, плескал серебром на дюны. Воздух был напоен смолою и крепкой горечью дюнных трав, заглушавшей дыханье океана. Перед последним завтраком в «Сосенках» Пти Жако поднялся на «верхний

пляж» прощально полюбоваться видом и покурить в лонг-шезе, со счетной книгой, где круглое сальдо ласкало глаз, — как позывающе захрипел мощный клаксон машины. Пти Жако поднялся и поглядел. Перед отелем стоял шикарный, сильный паккар, первоклассного биаррицского отеля, — в таких ездят лишь самые первоклассные клиенты. В машине сидел господин основательного вида, с внушительно-каменным лицом, с крепкой осанкой иностранца, — американца, почувствовал Пти Жако по каким-то особым признакам. Появившийся на позыв портье, уже снявший свою ливрею и похожий теперь на голодранца, — Пти Жако неприятно поморщился и привычно подумал — «глиста несчастная!» — потянулся к фуражке, которой не было, и почтительно объяснил, что отель закрылся до будущего года и принять, к сожалению, не может. Но иностранец, не слушая, уверенно вышел из машины и на каком-то ужасном языке выбросил два-три слова, что-то похожее на — «сами лючи . . . видель . . . океан». Пти Жако хотел — было крикнуть с крыши, что, к сожалению . . . и так далее, но удержался, мгновенно сообразив, что с крыши неприлично, особенно перед таким клиентом. Он только смотрел недоуменно, как иностранец, развалисто разминая ноги, пристукивая тяжелой тростью, пошел к отелю. Портье забежал почтительно и распахнул дверь настежь.

Пти Жако сейчас же скатился вниз и поспел встретить иностранца на первой ступеньке лестницы. Он уже приготовился особенно элегантно объявить, что его отель, к величайшему сожалению . . . — но каменное лицо повелевало: «сейчас же, самое лучшее». Пти Жако совершенно растерялся и вдруг позабыл слова. «Никогда в жизни со мной ничего подобного не случалось!»

— рассказывал он после. Он побежал вперед и открыл лучший из салонов, в бельэтаже, стремительно распахнул все ставни и предложил всей фигурой глубокое кожаное кресло. Иностранец невнятно хрипнул, повел белобрысыми бровями и дернул челюстью; и тяжело погрузился в кресло, вытянув-раскорячив ноги в прочно сработанных штиблетах, в крутых шерстяных чулках, — крепко-спортсмэнской марки. Все на нем было веско, свободно, прочно. Крепкие ноги — отдыхали, руки засунуты в карманы, открыта у ворота рубашка, по-летнему, привольно. Но лицо оставалось неподвижным, непроницаемым. Оно все же что-то говорило, и Пти Жако по-своему перевел эту непроницаемость и важность: «мне нравится — и баста». Это ему польстило, мелькнуло что-то, задорное . . . — но тут же с досадой вспомнил, что отель закрывается, и ему нужно сейчас в Бордо. И принялся почтительно объяснять, изыскивая слова, что он очень польщен вниманием, понимает толк в людях, и беседовать на-юру в вестибюле . . . точнее сказать — в холле, не так удобно . . . — «но, видите ли, такая ужасная досада . . . как раз сегодня, и. . .» Иностранец повел бровями, вскинул их по-совиному, достал голубой платок и звучно-слезливо высморкался. Потом вытянул кожаный кисет и трубку и принялся заряжать неспешно. Пти Жако шустро подставил столик для куренья.

— Очень сожалею, ми́стер . . . — продолжал он предупредительно и даже виновато, — пожалуйста, курите, отдохните и . . . вообще . . . но, к величайшему огорчению . . .

— Сода-виски . . . — выпустил иностранец через трубку и повернулся удобнее в кресле — на океан.

Пляжа не видно было. И ничего, кроме пустого океана, не было: будто на пакетботе, из салона.

Пти Жако знал этот пуан-дэ-вю лучшего своего салона и очень гордился им, но Бордо его беспоокило. Он поклонился светловолосой, с проседью, крепко посаженной голове иностранного чудака и поспешил узнать от знакомого ему шофера, почему этот иностранец облюбовал его «Сосенки», и в чем, вообще, тут дело. На лестнице ему попалась уже отпущенная Розет, веселая, с розами во все щеки, спешившая к жениху в Тулузу, и он попросил веселую стрекозу подать поскорее иностранцу в «морской салон» — на мельхиоровом подносе! — сода-виски, как подавалось англичанам, с анисом и мятными лепешками. В холле он увидал оживленную кучку лиц.

Шофер биаррицского отеля, большеротый болтун Жюстин, сиял белоснежным балахоном и широченным диском своей фуражки, размахивал руками в оранжевых отворотах отельной марки, — рассказывал что-то, видно, сенсационное. Перед ним стояла мадам Пти Жако, сложив, точно на молитву, руки и закатив восторженные глаза, и по этому одному Пти Жако сразу определил, что тут нечто необычайное. Тут же стоял обмызганный портье, «эта глиста несчастная», смотревший Жюстину в рот с таким напряженным видом, словно вот-вот из этого лягушачьяго ротищи выскочит страшно-важное, и как бы не упустить его. Торчал тут же и лопоухий Жеромка — поваренок, задрав голову в колпаке и разинув рот. Жюстин-плут — «нос, как у фараона!» — видимо, был в ударе после хорошего аперитива: закидывал головой, пырял пальцем, растягивал лягушачьи губы и щурился от щекотной неги, как ящерица на солнышке. Его жуликоватые глаза были нали-

ты смехом и чем-то еще, таинственным. Пти Жако сразу разбил очарование:

— В чем тут дело, Жюстин... почему ты его завез ко мне? ты же отлично знал, что отель закрывается, и по-ихнему понимаешь... почему ты не объяснил, и что это за тип, и... вообще, в чем дело?.. — закидал вопросами чем-то встревоженный Пти Жако.

— Ты послушай, что говорит! — восторженно повела глазами мадам Пти Жако и привычно поправила на муже галстук. — Совершенно необычный тип... какой-то полоумный!.. Знаешь, сколько ставят ему за километр... ну, как ты думаешь? По се-эм франков!! За прошлый месяц ему настукали... как ты думаешь...?!

— Ничего я не думаю, чорт возьми! — с чего-то расстроился Пти Жако.

— Больше шестидесяти тысяч! и это только по мелочам... по-думать!..

— Что-о?.. — привскочил даже Пти Жако, и галстук его подпрыгнул, — шестьдесят тысяч за... километр! за... Но, ведь, это же, наконец, грабеж! это же... это чорт знает что... Врет старый плут, фантазии... Нет, серьезно, любезный друг...?

— На что серьезней... самый американский стиль! — хвастливо сказал Жюстин.

— И заплатил? наличными?..

— По-ихнему, чеками, понятно. И не вздохнул. Да ему плевать на это, шестдесят тыщ! Он три тыщи семьсот за аппартаменты в день платит... эти деньги у них карманные, мелочишка.

— Нет, Луи, ты послушай, ты послушай, какая тут... Этот ловкач, разумеется, никогда бы к нам не завез такого жирного каплуна, — понизила голос ма-

дам Пти Жако, игриво грозя Жюстину пальцем, — если бы не захотел сам каплун!..

— Са-ам?!.. он, захотел, сам, ко мне?!.. — выпучил глаза Пти Жако и потер заблестевший лоб. — Ничего я не понимаю... как, почему... что за история... — тер он пупырчато-сизый лоб, стараясь что-то сообразить. И вдруг засиял в улыбках. — Вот что, дорогой Жюстин, старина... как раз на проводы, сейчас с нами позавтракаешь, устрицы обновим, пока тот покуривает... и сода-виски... Но это, знаешь... вот это так — удар-чик! Да он, что же это... с «начинкой»?.. — понизил голос и поглядел на лестницу Пти Жако. — Ты вострый, плут-старина... у тебя глаз-то наполеоновский, как по-твоему, с «паучком»?

— А чорт его разберет. «Паучок», понятно, имеется... да это что! А вот, есть у него... — пощелкал Жюстин языком и пальцами и подмигнул игриво, показывая этим, что у него есть, что порассказать, — такое закрутил!..

Прибежала запыхавшаяся Розет, корчась от разбиравшего ее хохота, и прыснула в ладони.

— Что? что такое?.. — устремились к ней Пти Жако.

— Он уж располагается... и чемоданы велит, и самое лучшее порто, и свежее яйцо, сахару... сам будет коколь-моколь!.. — покатывалась она, перегибаясь от хохота. — Что же ему сказать? Я немножко могу по-ихнему, англичанки меня учили... сказала, что закрываемься, а он только рукой махнул, стал свистеть.

А, деревня!.. Постой, ничего не понимаю... Жюстин! — взялся за голову Пти Жако, стараясь что-то

сообразить, — сказал ты ему, что отель закрывается, и?..

— Как же не говорить, сто ему раз твердил, туполобому. Мне же приятней иметь его при себе, проценты с отеля выгоняю и прочее гоню, понятно. Поговорите-ка с ним сами, мосье Луи, тогда узнаете. Надо знать, в чем тут самая загвоздка. Такое дело, что... Ловкачка одна, девчонка, а, может, и не девчонка, а целая мадам, русская певичка из «Крэмлэн д-Ор», назначила ему здесь рандеву. Ну, теперь понимаете?

— Ни-чего не понимаю... здесь? у меня... в «Пти Пэн»?!.. — Пти Жако обвел окружающих глазами, и в этом взгляде было и изумление, и гордость.

— Уж раз говорит Жюстин — верьте. И о н теперь окончательно одурел. Вам рассказать все стильно — опять не поверите. Мы с ним три дня крутились, все Пиринеи обкатали, по всем курортам и санаториям, где только не были. Да т у разыскивали...

— Не понимаю, ни-чего не понимаю...

— Какая-то галлюцинация! — воскликнула мадам Пти Жако, в восторге.

— Чорт их поймет, этих иностранцев... путаники! — самодовольно сказал Жюстин. — Пряталась, что ль, о н а от н е г о, или думает разыграть получше, только залетела в самую высоту, на льды!..

— На льды-ы?!.. — восхитилась мадам Пти Жако, а сам Пти Жако сказал:

— Романы бы тебе писать в газетах. Прошу тебя, говори серьезно, а это прибереги для Бордо, там у меня послушаем.

— Факт! — вскинул Жюстин плечом, приподнял широченную фуражку-диск и галантно раскланялся. — Именно, на льды. Прикатываем, наконец, к чорту

на-кулички, в этот, как его . . . комфортабельный самый санаторий, холодом вот где лечат, чахоточных? . . Да, прозывается «Эдельвейс». Это повыше будет того, как его . . . пик-то вот этот где . . . там виражи такие, с моим паккаром не развернет, другой кто . . . только мое искусство! самого маршала Жоффра возил не раз, очень доволен оставался, любил рискнуть. А этот и не глядит на пейзаж, только знает свое — «плю-вит»! Так чесали . . . эх, думаю, разобьем машину, американская голова про-щай! Прикатываем под облака . . . он сейчас бумажками шевельнул в бюро — все телефоны зазвонили . . . — стой, есть! Тут-то мы и накрыли птичку. И вдруг . . .

— Постой, ничего не соображу . . . Значит, так . . . — соображал что-то Пти Жако, — все планомерно надо. Розет, порто ему . . . на верхней полке которое, во втором ряду справа, еще англичанам подавали. Погоди . . . яйцо у мадам Сабо, с гнезда чтобы. Вещи . . . только и всего? — оглянул он два мерных чемодана, свиной кожи, с бронзовыми оковками.

— Это что с собой только прихватили, для охоты за той, а все в отеле у нас . . . третий месяц у нас стоит, а к вам на побывку только.

— Ну, накрыли птичку . . . ну, и что же? — горела от нетерпения мадам Пти Жако.

— Да погоди ты, с «птичкой»! — закипел Пти Жако. — Теперь как же? . . Мы же закрываемся, чорт возьми! Надо это все объяснить.

— Закрывайтесь — не закрывайтесь, а его уж теперь, шалишь, не выставишь. Он ваши «Пти Пэн» в книжечку вписал, только ему та сказала . . . и мне отъезжать велел.

— Да та-то откуда знает мои Пти Пэн»? Впро-

чем, меня все знают. Говоришь — русская? Кто же у нас... русская... Матиль? не помнишь?

Мадам Пти Жако не помнила. Если она не помнила, это значит, что никакой «русской» не было.

— Да их и не признаешь, русских, — сказал Жюстин. — Т а и за англичанку, и за американку вполне сойдет, так чисто говорит-играет — не отличить. Они по-всякому могут говорить, сколько я прошибался, а уж виды, кажется, видал. Русские женщины, могу сказать... такого стиля, — на всякие фасоны: и княгини, и графини, и принцессы, и... чорт их, откуда берутся только! А уж про стиль и говорить нечего, — модерн!

— А постой... — перебила мадам Пти Жако Жюстина, — одна, впрочем, помнится мне, была?.. Да, да, я теперь ясно вспоминаю... была, с шофером из Сэн-Жан-дэ-Люс. Он в замасленном балахоне, а она элегантная такая... сели прямо под перголя и просят завтрак. Натурально, все обратили внимание, т а к а я пара! У нас англичане, почтенное семейство, так были аффрапированы... и молодые девушки у них... а тут, со с в о и м шофером! Тут я сразу и поняла, что это русская, все они чуточку «дэтракэ», с этикой не считаются и приличий не понимают. Влез он, балахон в масле, сели, т а его за руку все брала и в глаза ему так глядела... ну, совершенно неприлично в нашей обстановке, и английский тон, и... Так вот и вижу их. И, помню, чтобы от них избавиться, предложила им под наши сосны, где больше воздуху, там им и подавали. Если это т а... да, она о-чень элегантна.

— Ничего себе, вид имеет, стиль, линия... и осанка такая, цену знает. Может, и из принцесс. Сто-ой, стой-стой... я помню того шофера... Говорите, из Сэн-Жан-дэ-Люс? Нет, тот, кажется, байонский. И т а с

ним катывала, внимание обратил. Полковник, будто, а совсем еще молодой, лет тридцать, черные усики...

— Верно, черные усики... синие, кажется глаза. Я еще подумала — красивый молодой человек, а как неряшливо одевается.

— Синие ли глаза — не знаю, а парень ничего, в стиль. Ну, теперь все понятно.

— Ни-чего не понимаю... о чем разговор? — все о чем-то раздумывал Пти Жако. — Ну, идем завтракать, дружище...

Завтракали в бюро: и семейная комната хозяев к отъезду была закрыта. Но стол был парадно сервирован: последний в сезоне завтрак. Жеромка отменно постарался, — хозяин нанял его в Бордо. Жюстин даже потер руками — фу-ты, какая роскошь! Кардиналом пылал омар, салат изумрудно маслился, целое блюдо устриц, холодная пулярда, осенние персики — каталонские, виноград-мáлага, и самая настоящая малага, и вэн-дэ-сабль, и гато с фруктами. Над чем потрудиться — есть.

— Так ты, старина, говоришь...

— Говорю, знать все надо. Порассказать вам — сразу понятно станет. К тому-то она и укатила! к своему шоферу, будто он в санатории. А этот прицепился. Ну она этого и крутит, между прочим... взбалмошные они, я знаю. А может и насмех, сказала про рандэву у вас, чтобы не наседал, скандал может получиться, шофер-то узнает если. Он уж очень напористый, американец-то. Его-то завертела в Биаррице, а шофер ее требует к себе, заболел, в санатории, ревнует... ну, она туда сюда виль-виль, а этот напролом, на льдах достанет... Ну, скандала перепугалась... вот вам и рандэву. А может и для пополнения

бюджета, и этого хочет попридержать. Есть чего подержать. За ваше здоровье, мадам Пти Жако...

Пти Жако все соображал, растирая на лбу пупырки. Мадам Пти Жако сказала:

— Теперь ясно: двойная игра! Но это не наше дело, каждый отвечает перед своей совестью... — она была твердая католичка. — Как же, Луи, теперь?

— Совершенно выяснено одно: он будет ее здесь ждать. Та-ак...

Он позвонил портье.

— Чемоданы внести, и... помоги мистеру... что надо. Постой... Как по-твоему, отложим отъезд до завтра?.. — взглянул он нерешительно на жену и увидал по ее глазам, что это-то именно и нужно. — А ты... — поморщился он на обдерганного портье, тут же решив, что к новому сезону возьмет человека посолиднее, а не «глисту», — сейчас же надень камзол, руки вымой... волосы у тебя какие!.. Отель работает.

После солидного аперитива, повторенного, и повторенного еще раз, после отборных аркашонских устриц — «премьер», сентябрских, — из личного запаса, взятого для Бордо, покрытых белым вином, крепко сухим и в точную меру терпким, так называемым — «песочным», местным, — этим славится городок, — Жюстин окончательно развязал язык.

Не стоит и говорить о какой-то его любезности, о внимании к почтеннейшему мосье Луи, славному Пти Жако. Все только и говорят о нем и о первейшем его отеле с «пляжем», — и в Аркашоне, и в Леоне, и в Сустоне... даже в Биаррице и в Байоне... и, если хотите знать, по всем даже Нижним Пиринеям. Где только не

крутились они с этим американским типом! За три дня настукали больше тысячи двухсот... Каких там франков... точнейших километров, по клейменному счетчику! Да, за девять тыщ перевалило, мосье Луи знает таблицу умножения.

— Вот это так — уда-рчик!.. — чокался Пти Жако, и носатый Жюстин-мошенник казался ему теперь самым приятным человеком.

Мадам Пти Жако уже успела переодеться, сменив дорожный костюм на голубой муслиновый капот, который, правда, слишком пышнил ее, но и молодил, придавая глазам цвет моря. Она слыхала, что американцы любят солидное, а голубые глаза особенно. Серый костюм Луи казался ей легкомысленным, и она успела ему шепнуть, что приличнее бы визитку и синий галстук. Жюстин, например, умеет одеться джентльмэном. Жюстин, действительно, был великолепен, во всем спортсмэнском, серовато-зелено-клетчатом, в мягкой фланелевой рубашке, с игривым галстучком.

Никакого недоразумения и быть не может. Он собственными ушами слышал, как та девчонка... — а, может, и мадам! — крикнула второпях — «ну, хорошо... измучена я... ну... розовый отель в X... «Пти Пэн»... дня через три-четыре!» Действительно, довертелась, лавируя между двух огней. Бледная, лица нет, и губы забыла навести, здорово как прищучил. Тот сейчас в книжечку — чик, готово. Факт! Как ей не знать, все знает. Эти прожженые русские че-го не знают! По всему свету рыщут, как бродные цыгане. Татарский народ, — монголы и казаки. И здесь скакали? Это они умеют. И поют здорово, только без аккуратности. Начнут, словно кюрэ на панихиде, а под конец так пустят, будто их черти лупят.

Жюстин заливался соловьем, но мосье Пти Жако интересней было узнать про иностранца.

Чистейший американец, нельзя чище: и жвачку свою жует, и челюсть, как полагается, ослиная, и поверх головы плюет. А внутри... чорт его разберет, с секретом. Будто лесами занимается, а приехал из Индии!

— Из И-ндии?! — изумилась мадам Пти Жако, — но почему из Индии?..

По справкам дирекции отеля. На чемоданах налеплено... места живого не осталось: и Коломбо, и Сингапур, и Индия, и Мельбурн, и Александрия, — и все самые первоклассные отели.

— И вдруг... к нам, в «Пти Пэн»! странно...

— Ничего странного! — вскинул плечами мосье Пти Жако. — Будут и из Новой Зеландии приезжать... стра-нно! До сих пор не написано в Париж... Изволь написать кузине Эмми, чтобы организовала в Декоративной Школе мой конкурс на нашу марку, как я установил: премия триста франков, моя идея — золото и лазурь... впрочем, не золото, а серебро, — «Кот д-Аржан»! И чтобы непременно ударчик» был... ну, они там придумают. Эти пестрые ярлыки, всяких этих «Паласов» и «Кристаллей»... Стой, старина... иде-я! Дюна, сосна, и... эдакий «американец», с трубкой, рожа зубастая, и дым из трубки, как облака, и в облаках — мой «Пти Пэн»! А, ведь, недурно, а? Лесами занимается, говоришь?

Лесами. Все американские леса у него в кармане, лесной король. А ничего точно неизвестно. Занял аппартаменты, где останавливаются только магараджи да шах персидский, да король Сиамский, да... Прописано — «из Торонто», только. Мистер Эйб Паркер, прези-

дент Лесной Компании. Разные «лесные компании» бывают. В прошлом году тоже прописали «президента», а он настоял на пятнадцать тысяч и испарился, а в чемоданах одни кирпичи в газетах. Дирекция навела секретные справки в главном американском банке — «чего он стоит». Ответили за чеки — «без ограничений»!

— Без ограниче-ний?!.. — понизил Пти Жако голос и осмотрелся по сторонам. — Но, если на... миллион?..

— Без ограничений. За два месяца ни разу не заметили его с женщиной. Лет так под пятьдесят, но крепок и свеж, как первая редиска. Пьет как лошадь, и ни в одном глазу. И не играет. Но есть некая загвоздка: ищет!

— И-щет?.. что же он ищет?.. — спросила взволнованно мадам Пти Жако.

Жюстин только пожал плечами.

— Натурально, предмет... по мерке.

— Боже, как это... но это ужасно романтично!

— Это что, романтично... дра-матично, скажите лучше! — болтал Жюстин, чувствуя, что в ударе. — У меня глаз наметан. Тут... может быть, драма назревает. А что вы думаете? Нюх! Весной был здесь г. директор Комеди Франсэз, я подавал машину. Ну, разговорились по душам, аперитивы, завтраки с ним в горах... и говорит: «эх, мосье Жюстин, вам бы к нам, какого бы Сганареля мы дали публике!» Говорю — мог бы и Тартюфа дать. Но... мечта всей жизни... Эрнани или... как его Рюи-Блаза! Трагический нюх во мне. И этот иностранец... пахнет. Были в Тарбе, что-то он там разыскивал. Заходил в мэрию, искал все какое-то семейство... Ошэ, или — Кошэ?.. Говорят, лет сто, как род пресекся. Показали место, где был дом, как раз

у церкви. С планами ходили, комиссией. А там бистро. Три дня с ним пробыли. Все ходил, один. Тут-то я и приметил, как он прикидывает... же-нщин! Всех переглядел. На базаре тоже... Зашел к фотографу, — Тарб, сразу все и узнали. Затребовал альбом, архивный, переглядел. Выбрал одну, чуть ли не с дагерротипа, старинную. Торговка, рыбничиха с базара. Купил. Стали искать торговку, а она лет сорок, как померла. Чудила.

— Да тут, прямо... «Три мушкетера»!.. — мечтательно вздохнула мадам Пти Жако.

— Три мушкетера» пустяки. Если из литературы, так... где это про белую козу? Хуже, чем «Тайны эшафота». И щ е т. Может, по всему свету ищет, чего не потерял. У них особые фантазии, у американцев этих. Все городки объездили, и по горам, и в ландах. Все добивался по истории: где тут англичане в старину стояли. Ну, все секретари-архивники справки ему давали. Как какая справка, чик — и чек. В Сэн-Вэнсэн попали, на ярмарку скота, со всей округи наезжают. Все бродил, прицеливался к бабам...

— Может, он с «трещинкой»? — заметил Пти Жако, — как его «чердачек»-то?

— Есть, понятно. Ездили по ассамблеям. В сентябре тут повсюду ассамблеи, парни невест выцеливают. Все прознал, — ту-да. Общие там обеды, как в старину, все за один стол садятся. И о н присядет, выцеливает, тоже. Угощал, понятно. Думаю — что такое? бабник?.. Примечаю. Раз горничная и накрыла, у нас в отеле. Как-то о н промазал, не убрал. Входит убирать, цоп!.. — а-льбом! Женщина, сейчас это открыла... — цветник! И все мадамы и девчонки. И все — на один фасон. Говорит, — светлые шатенки. А глаза — яркие,

в сияньи. Крра-сса-вицы-ы! .. Думаю себе: стой, Жюстин, к докладу! У меня приятель, помощник комиссара нравов. Разговорились. Он и говорит: а не главный ли *он* агент ... по «этому товару»? Говорю — чеки без ограничений. Это, говорит, ничего не значит, у гангстеров тоже без ограничений. А если ... для какого важного гарема, для магараджей ... в Индии-то *он* мотался? ..

— Я так и думала! тут, несомненно, что-то ужасно криминальное ... — начала, было, мадам Пти Жако в волнении, но перебил Пти Жако:

— Говоришь ... три тысячи семьсот в день? в Биаррице платит? .. А сколько комнат? Две спальни ... так. Салон, маленький салон ... так.

Пти Жако что-то соображал с блокнотом. На его лице горели пятна. Взгляд устремлен куда-то, в пустую точку. Вошла Розет.

— Что *он*, как? — спросила мадам Пти Жако.

— Курит и глядит на море. Ставлю сода-виски ... как он че-люстями на меня! .. и головой вот так ... так напугал! ..

— А, знаю, это у него тик такой ... — сказал Жюстин. — Бывало, за спиной как скрипнет, зубами так ... Сначала и я боялся — ну-ка, на него накатит, да чем-нибудь в затылок! Раз, на ассамблее, тоже ... так и шарахнулись девчонки.

— Ты слышишь? — сказала мадам Пти Жако тревожно, — а если что случится ... ты подумай!

— Ну, что, что, что? .. — крикнул Пти Жако. — что случится? ..

— Мало ли ... Ну, а вдруг он ... опять «Джек-Потрошитель»? В Англии, когда-то ... Американцы — те же англичане!

— А-а... причем тут американцы? А у нас Ландрю!.. Начиталась дурацких фельетонов, пора бы уж!.. Просто, у него... двойная жизнь. Нас это не касается. Платит — и все в порядке. Один кюрэ был двойной, прокурор даже был двойной, а знаменитый один ученый фальшивые бумажки делал. В Биаррице не боятся.

— Ну, а вдуг он... сожжет отель?

— Премию получим. Вкатим иск... без ограничений»!

— Знаешь, Луи... лучше бы он сейчас уехал?..

— Ты его за-ставь уехать! Впустили, так уж...

— Стал на якорь крепко, теперь уж... Вы дальше слушайте... — торжествовал Жюстин, довольный, что захватил рассказом. — Выцеливал, примеривал, и... напоролся!

— Звонит... не слышишь? — крикнула мадам Пти Жако Розете. — И жутко, и... Шум, кажется?..

— Все тебе ка-жется!.. — сказал с раздражением Пти Жако. — Я не настаиваю. Завтра объяснимся... Не могу же я его вышвырнуть! Я предупредил, завтра уедет, если уж так... — досказал Пти Жако плечами, налил вина и жадно выпил. — Пей, Жюстин...

— Не—эт, теперь он не уедет, не-эт... — растянул от удовольствия рот Жюстин и облизнулся, — крепко засел, не выдрать, забуксовал.

— Как же он ... напоролся? — допытывалась мадам Пти Жако.

Розет вернулась:

— Требует завтрак. Ничего, ласковый.

— Ла-сковый? — удивилась мадам Пти Жако и просияла. — Что же он... как ласковый?

Розет усмехнулась хитро.

— Да подошел ко мне, и в глаза мне так... и спросил, ласково: «ты откуда, миленькая какая?» Я понимаю, все-таки, у англичанок наловчилась. Сказала и м — из Тарб. Так и шатнулся, и ртом так, а ничего, нестрашно. Сколько мне лет, спросил. Скучно так посмотрел... и вот, двадцать пять франков, ни за что!

— Ого! — выбросил Пти Жако, как выстрелил. — Вот те и на дорожку. Да, завтрак?.. Салат, пулярда... и все, все, все, что... Скажи Жеромке — мюж под белым соусом, да попарадней! Постой. Сбегает к Дюкло, лангусту... у него есть... Скажешь — отель закрыт, а завтра, что угодно. Если пожелает, американцы любят поострей, можно к обеду буйабес, ну... наше, специалитэ-дэ-ля-мэзон — жиго по-баскски... вино?.. Это я сам уж с н и м. Гастона отпустили, ловко умел потрафить англичанам. Он еще в городе... позвать, как думаешь? — взглянул он на жену.

— Если на два-три дня — пожалуй.

— Шанс, мсье Луи! — подмигнул Жюстин. — Здорово устриц любит.

— Устриц, Розет, у-стриц! — закричал Пти Жако Розете, которая уже была на лестнице. Сам побежал за ней. — Из моего запаса, и вэн-дэ-сабль! Да пошустрей ты с н и м, не будь деревней, не бойся, глупая, тут и на приданое зацепишь...

— Да уж не вам чета... только наобещали, а...

— Приезжай в Бордо — получишь.

— Ждите... — подразнилась языком Розет и полетела ветром.

Пти Жако вернулся и возбужденно выпил.

— Жюстин, за твое здоровье. Ну, так — напоролся?..

— Забуксовал. Только с т о й вряд ли у него что

выйдет. Да что... как-то у них все шиворот-навыворот, у этих русских. Уж насмотрелся. Знаете — называется ам-сляв? Мерка совсем другая. «Кремлэн-д'Ор» знаете, модный кабачишка... мсье Жан Петрофф? Лакеями все только капитаны, лейтенанты. Погребом ведает полковник или генерал. Портье — «шэр-кэс», тоже полковник будто... на протезе, а лихо прыгает. Встречает — как на смотру. Жиго подносят на кинжалах. Стиль! А жен-щины!.. Выйдет ихний хор — ослепнешь. Это но-мер. Или певица, соло, в этакой... как это у них?.. не шляпка, а... кокон. Икона, стиль... иде-я. Иде-я, дорогой Луи. Стоит — как изваяние, как... ассирийская богиня. Ни пальчиком, а... все косточки у ней играют. Это — стиль! Или — танцуют... э!.. Чорт возьми, сам два раза по пять франков выкладывал. А ихние еще казаки... мертвого подымут! И все, ведь, нищие, клошары, мсье Луи... «ни пото, ни мэзон», так и поют: «тю мурра... — этиль-ньора-падэ-домаж». Знаю, у меня там приятели. Веселые, черти, а у каждого нож в груди! Это, мсье Луи, сти-иль, и-дея! Зубы стиснул, а жарит во все горло. И все ночи американцами набито. Англичане, шведы... На что голландцы, крепки на денежки, — и те размякнут, как хлебный суп.

Пти Жако причмокнул.

— Попали в жилу. Гребут?

— Ого-о!.. — Жюстин защурился, как от солнца. — Клондайк! Жан Петрофф, говорят, раньше министром был... понятно, в чердачке не пусто, мог аранжировать. «Крэмлэн»... это надо ви-деть! На скале, прямо в море, будто пакетбот «Атлантик»: палуба, носовая часть, бухширинг... экзотика. Стиль, и-дея!..

— Это же моя идея! — крикнул Пти Жако. — У

меня в «морском салоне», где т о т, полная иллюзия. Мои «Пти Пэн» плывут! . .

— И с первоклассным пассажиром, мсье Луи. Такой — один стоит всех голландцев-шведов . . . Ка-кого карпа я вам завез-то, будете Жюстина помнить.

— Американцами набито?

— Плюнуть негде. А почему? Казаки. Все косые, скуластые, мон-голы. Кинжалы, шашки . . . ти-гры! Американки обмирают, всякие мечты, то-се . . . Ну, что ихние ковбои . . . грива на штанах да шляпа с зонтик. А у тех — ноги на шарнирах, на штанах кровь, огонь . . . ну, и готова, испеклась, сейчас и жемчуга теряет. А пе-сни . . . о-о-о! Свист, гик . . . и вдруг, заплачут . . . пьяные, американцы. Чарли один, мальчишка . . . приятели рассказывали, — его там «каучуком» звали . . . неделю так и не вылезал оттуда, с сотню тысяч пропил-прокидал, так казаками очаровался. Отец ему из Анжелоса каблограммы, а он их рвет. И дурака такого . . . жале-ют! такого-то болвана! . . Пьян всегда, так и ночует на диванах . . . сотнями швыряет . . . шанс, лови момент! А те, шибко если пьян, назад ему, сами в карман суют! Вера, говорят, у них такая, религиозная . . . и-дея: от пьяного ни . . . ни сантима!

— Зна-ю эту идею, — присвистнул Пти Жако, — это философия, у нашего Руссо . . . называется — идеализм. В коммунальной еще учили. То — в книжках. А другое — наоборот, это — реализм. Вот и промазали войну, теперь пошли по ресторанам, хлеб отбивать от . . .

— . . . реали-стов, мсье Луи!

— Нет, от специа-листов! Ну, жизнь научит.

— Нет, э т и х не научит, мсье Луи. Уж я-то знаю,

пропащие... — махнул Жюстин фужером и расплескал.

— Виноват, мадам, на скатерть... Не научит. Жан Петрофф, человек приличный... мерседес завел, сорокасильный... для себя! Клиентам — ни-ни-ни... чудак. Какой-то санаторий хочет ставить, для офицеров, чтобы всем бесплатно! Про-горит.

— К делу, дорогой Жюстин, — торопила мадам Пти Жако, — вы про иностранца, про т у...

— Виноват. Да, забуксовал. Нацеливался, примерял, и — напоролся. И немудрено. Если бы, дорогой Луи, вы увидели... про-щай! Я понимаю толк в женщинах... Извините, мадам Пти Жако... античная Венера, перед т о й — глыба, и больше ничего. Стиль, идея! Манеры, линии... — показывал Жюстин, крутя руками, — глаза-а... Но-о... — Жюстин прищурился и помотал лукаво пальцем, — Верден, и — точка. Идеализм, симан-армэ, броня. Вздыхай и... — точка.

Пти Жако высчитывал в блокноте. Мадам Пти Жако сказала, щурясь:

— О, Жюстин, однако... и вы того? а, кажется., такой резонный.

— Ма-дам!! — вскинул Жюстин плечом и поклонился. Откинулся, вытянул в нитку губы, защурился, и на костлявом его лице изобразился ужас, — шутливый ужас. — Нос все дело портит... — потянул он себя за кончик носа. — Директор «Комеди Франсэз»... рассказывал я вам, мсье Луи, говорит мне: друг Жюстин, нос у вас, как у фараона Ту-ту-ту-камона... но успех в театре обеспечен. Да, но... увы, не по карману. Жюстин-бедняк может только вздохнуть и облизнуться. Жюстин-бедняга...

— . . . у кого в банке . . . — подмигнул Пти Жако, высчитывая карандашом в блокноте.

— Но-но-но-но-о! . . не слишком, мой Луи, не слишком . . . — покачал пальцем насторожившийся Жюстин, и его нос пропал в фуражке.

Пти Жако знал цену болтовне: надо было процеживать сквозь сито. Он это сделал, но и остатка было много — что-то сенсационное варилось. Иностранец был налицо, в «морском салоне». Будет и завтра, и послезавтра, и . . . «без ограничений». Англичане платили за апартаменты хорошо, но все же маловато, — триста франков в день. Отель закрыт, и все закрыто: надо поискать «Пти Пэн». Надо их открывать, надо нанять прислугу, удержать Розет, — она привыкла к иностранцам, умеет с ними, — надо вернуть Гастона, — не повар, золото! — взять плонжера, держать отель в порядке, настилать ковры, взять «англичанку» — кого-нибудь, мальчишек . . . наконец, держать машину. Да, вот как с машиной? . . Весь план нарушен, надо в Бордо, дать отдых сыну, надо в с е прикинуть: все — для каприза иностранца! Надо, наконец, и риск прикинуть. Кто его знает . . . а не заплатит? «Без ограничений» . . — а вдруг? . . У н и х возможно, кракнет биржа, вот и «без ограничений»! Или, вдруг, скандал . . . муж накроет, или еще любовник, револьвер, убийство . . . или еще похуже? Надо все прикинуть. Надо и масштаб прикинуть, амери-канский . . . Проживет дня три-четыре — стоит ли из-за пустяка ломаться. Надо в с е прикинуть.

И Пти Жако прикинул. Он колебался, набавлял, сбавлял, прикидывал, амортизировал и — в с е прикинул.

Позвонил Розет. В волненьи, протянул жене бумажку:

— Вот, калькуляция... Да,еще шоффаж прикинуть, может потребовать, на случай. Только-только в меру, покрыть издержки. Надо и... эту... психологику учесть, моральную затрату. Иначе — игра не стоит свеч. И, в сущности, чем мы рискуем? Не примет, — пожалуйста, в Бордо поедем... кто его просил?..

Пти Жако следил за выражением лица жены. Ее лицо покрылось пятнами кармина. Она читала: «Апартаменты, № 1 . . . . «морской салон»... — шесть тысяч пятьсот франков в день. Пансион по соглашению. Администрация приморского отеля «Пти Пэн» — Луи Этьенн Пти Жако». И хитрый росчерк.

Мадам Пти Жако выпила вина и поперхнулась. Жюстин рассказывал.

— Ну... как?..

— По-моему, ты слишком... — мадам Пти Жако закашлялась.

— Слишком?.. — почесал у глаза Пти Жако.

Жюстин болтал про драку в кабаке «Крэмлэн».

— ...скромен... — она все кашляла.

— Ну... для первого знакомства. Если все прикинуть... А, Розет, вот... снеси ему. Я жду ответа... так и скажешь. Напомни, что отель закрыт, но... если пожелает... ступай. В руки не суй, а на подносе!

Жюстин увлекся «дракой»:

— ...тот, голландец, выпучил глаза... а тот, смокинг долой... и — бо-ксом!..

— Тот, иностранец?.. наш?.. — слушала-следила мадам Пти Жако и кашляла. Глаза горели, щеки рдели.

— Натурально! к барьеру, чорт возьми!..

Пти Жако потягивал винцо и думал.

— Говорят, бы-ыл номер! Все ведь американцы, чуть что — и боксом, стиль!

Жюстин рассказывал по слухам.

Иностранец зачастил в «Крэмлэн». Побил какого-то голландца. Конечно, пьяный. Иностранцу очень понравилась певичка... Снэ-шко... та, которую «накрыли», у ледников. Проводил в «Крэмлэн» все ночи, подносил цветы. Мрачный всегда и полупьяный. Как певичка выйдет — так и нацелится, весь перекосится даже, — прямо, страшный. Ну, втрюхался.

— Но... полный джентльмэн! Ни-ни... как платоническое чувство. Все так и говорили: обожа-ет! Пьет и — обожает, только. И — цветы. А у ней, будто, муж... и офицер! Тоже и у них стро-го на этот счет... чуть что — зарежет. У всех кинжалы... сами понимаете, народ восточный... женщины в гаремах. Но у нас, в Европе, этого нельзя, культура, все свободны. Стиль! Что между ними было — неизвестно. Вот, подносят ей белые цветы, все знают — от американца. Голландец, тоже целился. И крикни... а может и не громко, и скажи — «интересно, а за сколько можно ее иметь?» Тот и услыхал. Поднялся, и голландца — в это вот место, кулачищем. Слон, ведь... Долой визитку и — к боксу! Та, — в обморок, истерика... тут все казаки, натурально, за кинжалы, народ горячий... так и рвутся в бой! Но, как чудо... та, с эстрады: «благодарю вас, мой рыцарь... мистер Паркер, успокойтесь! прро-шу вас, умоляю!.. казаки, по местам! я недоступна оскорблениям!» Сразу все смолкло, и... на «баляляйки» заиграли. Говорили приятели... мистер Паркер был до слез расстроган... такой, заплакал! Вот это — сти-иль!

— Вы это выдумали, Жюстин... это из какой-то фильмы, — сказала мадам Пти Жако, — слишком уж... романтично, и очень глупо.

— Ма-дам! — с укором сказал Жюстин, — я там не был, но . . . говорили.

Розет вернулась:

— Требует патрона . . .

— Как ты ему сказала? — спросил Пти Жако не без волненья.

— Да как . . . как вы велели. Если не хотите, — уезжайте, отель закрыт.

— Деревня! — ляпнул Пти Жако по столу ладонью, — «если не хоти-те! . .» Ну, дальше?

— Перекосился, зубы показал и говорит — «патрон»!

Пти Жако плюнул, выпил «песочного» и объявил решительно:

— Надо кончать. А чем я, в сущности, рискую! В окопах и не то видали. Идем, Жюстин, будешь за переводчика. У тебя всякие слова . . . можешь поговорить, как Цезарь. Ну, вперед!

Пти Жако почувствовал отвагу, поправил галстук и потер лоб в пупырках. Но Жюстин мялся что-то. Все-таки . . . как-то не совсем удобно, могут быть неприятности с его отелем: скажут, работает дублетом, на два фронта. Выходит не совсем красиво. Пти Жако просил: никто не скажет, тип, очевидно, не останется, все кончим сразу . . .

— . . . и отвезешь прямо в Биарриц.

— Ну, идем! — решился, наконец, Жюстин, — не то видали!

На лестнице он справился, не слишком ли «хватили», хотя с ним в этом отношении ни разу не было зацепок.

— Нормально . . . — сказал Пти Жако уклончиво, — если за километр семь франков . . . нормально!

Иностранец смотрел на океан и пускал клубы дыма.

Услыхав шаги, он обернулся, поморщился и помотал бумажкой.

— Ага... — хрипнула прыгнувшая трубка.

Пти Жако изысканно склонился. Жюстин застрял у самой двери.

— Мистер желает?.. — начал подходчиво Пти Жако.

Иностранец шагнул к столу, швырнул бумажку и стукнул по ней трубкой:

— Это... как называется? — сказал он скучно.

Пти Жако повернул голову к Жюстину.

— Калькуляция, мистер. Тут все прикинуто. Если отель только для одного мистера... Па... Панкера, то... калькуляция дает такое... — ткнул он в бумажку пальцем и повернул голову к Жюльену. — Если это вас не устраивает, мистер Па... Панкер, вы свободны располагать. Важные дела требуют меня в Бордо, я каждый день теряю большие тысячи, и...

— ...и даже не понимают по-английски!

— Будут понимать, мистер Пан-кер! Все предусмотрено. Будут и ковры, и стол, самый изысканный... две спальни, две ванны, все, что необходимо... все принадлежности, полное удобство и... полное уединение! Мистер останется доволен.

Пти Жако заметил, что у иностранца глаза не зеленоватые, как у кота, — так почему-то показалось, — а синеватые, и мягкие. И лицо не каменное вовсе, а даже выразительно-приятное.

— Вы бьете все рекорды... — сказал с усмешкой иностранец, — шесть тысяч пятьсот — в день, без пансиона... Вы далеко пойдете.

Пти Жако повернул голову, но увидал зеленовато-клетчатую спину. Взглянул растерянно на иностранца,

встретил спокойный взгляд и услыхал знакомое — «э-э . . . сода-виски».

Это — «сода-виски» иностранец бросил пренебрежительно, и Пти Жако это почувствовал определенно. И поднял, чувствуя дополнительно — победу. Но надо было убедиться, действительно ли победа это, а Жюстин улизнул, как заяц. Пти Жако начал, было, почтительно — «достоуважаемый мистер Панкер . . .», — но иностранец повернулся к нему спиной. Эта внушительная спина показалась ему пустой, но он почувствовал что-то в ней, — усталость, скуку? . . Иностранец подошел к окну, оперся о косяк, смотрел. Пти Жако помялся, боясь потревожить. Но надо же, наконец, узнать определенно: «сода-виски» есть сода-виски, только. Он взял со стола бумажку.

— Очень извиняюсь, мистер... Па-нкер? — он помотал бумажкой и постарался лицом и жестами пояснить, чего не мог высказать словами.

Иностранец не оглянулся, только скучно махнул два раза — да, да . . . Пти Жако молча поклонился и отступил неслышно, на-цыпочках. В раздумьи, спускался с лестницы, мысленно видел спину и скучный взгляд, и было как-то не по себе, как бывает от странных снов. На тревожный вопрос жены он сказал без особого подъема:

— Остается. И сода-виски. Жюстин? . .

Жюстин неожиданно уехал.

В комнате небогатого отеля Ирина Хатунцева — Таня Снежко, по ресторану, — солистка русского хора Боярского, писала письмо мужу. Его портрет, в веночке из васильков, давно увядших, стоял перед ней на камушке. Камушек этот — даже не камушек, а комок затвердевшей глины — был для нее священным — символом родины. Она схватила его в последнюю минуту на станции «Таганаш», перед Джанкоем, при отступлении, когда обстреливали последний поезд, и она втаскивала в вагон залитого кровью добровольца, ловившего померкшими губами и просившего жутким хрипом — «дышать... дайте...» Раненый отошел на ее руках, залив ее платье кровью. А она все держала его руку на этом комочке глины и спрашивала гремевший поезд: «а Виктор?.. где-же Виктор?..» Теперь Виктор был с ней, недалеко, в санатории, и давний портрет его, в выцветшей форме добровольца, на этом кусочке родины, залитом русской кровью, вызывал ласковые слезы. Она писала:

... сентября 192 . . Биарриц.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . ему я верю, это хороший диагност и большое сердце. Он сам много выстрадал и не может лгать. Если С. говорит, что ты скоро поправишься, то так и будет. Твой пессимизм — это просто нервы, ужасное твое шоферство их совершенно размотало. 22-го, годовщина нашей свадьбы, — подумай, уже пять лет! — я непременно вырвусь к тебе. Помнишь, какой это был светлый день, и какая ужасная тревога. Симферо-

поль, пустая церковь, наши калеки-шафера, и в тот же вечер — фронт, разлука... Ночи в лазаретах, вечная тревога, слухи эти, угасающие глаза, одинаковые у всех, такие чистые, юные, святые! Каждую минуту ждала я страшного, но Господь сохранил тебя, и мы теперь неразлучно вместе. Сердце у тебя хорошее, а это, милый, переместилась пуля, это рентг. сним. ясно дает, нажала на какой-то сосуд, отсюда и кровоизлияние. Такой случай был у одного фр. офицера, я знаю точно. Надо бросить шоферство, сядем на ферму и будем у себя. Нечего и думать о Париже, Бог с ним. Четыре тыс. отложено, и я за посл. месяц напела почти три, сезон горячий, недавно один голландец пожертвовал 300 фр., нашла в букете... шикуют иногда. Побольше бы... И я сделалась жаднюхой, но это чтобы ты был покоен. Петь *им*, в таком угаре... папа бы что сказал! Петь о нашем, это мы только можем чувствовать. А для них никакой разницы: и *там*, и мы — одно и то же — «Решен». В этой ужасной атмосфере у меня кружится голова, и вспомнишь вдруг тот запах кровавых тряпок, ран..., а *они* ничего не знают, что такое страдать, терять... только — ан-кор, ан-кор!.. Это льстит мне, но только вспомнишь... И тут же наши, все потеряли, все отдали... и вот, увеселяют. Бывают минуты, мне схватывает горло, не могу петь, и тогда вызываю твое лицо, глаза, и только тебе пою, ты для меня все родное. Милый, единственный... зачем я тебе пишу все это? Но, знаешь, все-таки я не совсем права, даже и в нашей яме есть светлые точки, хоть и редко. Один молод. америк. Чарли ужасно привязался к нашим казакам и зовет к себе на кауч. плантации, только петь! Что-то и в нем разбудили наши песни, м. б. открывают узкой его душе какое-то раз-

долье, какую-то вольную свободу, кот. они забыли. Это уж атавизм, а у нас живое. Мы для них какие-то странные, чужие, и будто близкие. Это придает мне силы. Редко это, но и одним праведником спасется град. И еще швед один, старик, кот. жил в России. Играли балалайки, и наш запевала Тиша — помнишь, пулеметчик, курский, который у мучника служил? — начал коронное свое «Ходит ветер у ворот», и когда балалайки пустили «ветер», бешеные эти переборы и «молодую красотку», неуловимую и для ветра, что только со шведом сделалось! Вскочил, замахал, затопал и стал кричать, по-русски, — «русски ветер, шведски ветер, коледни, горячи, мой!..» Если бы все так чувствовали, все бы по-другому было. Ах, милый... нет, мир еще не совсем опустел, это от нервов у тебя такое горькое. Как хорошо сказал о. Касьян... помнишь, был у нас старичок-монах из Почаева, заходил в августе?

Сколько я написала, уже пять страничек, а не сказала самого главного. Совсем я писательница стала, а ты не смейся на мои ошибки, я все перезабыла, где надо ять, совсем я обезграмотилась. А в институте первой всегда была по-русски, стихи даже на акт готовила.

Опять сбилась... да, про о. Касьяна. Это был как раз тот день, катал ты меня по всему Кот-д'Аржан, кутили мы с тобой. Как ты сумасшедствовал, и как я была счастлива, ты со мной, мой. Я только что обновила чудесное платье, самую последнюю модель, шик такой! Как сон волшебный. Ты знаешь, я вовсе не такая «пустопляска», но тогда... И ты, ведь, тогда безумствовал, как мальчик. Я в папу, какой уж был серьезный, а любил одеться, всегда был элегантный. Это от него.

Ты все это знаешь, но как приятно вспоминать, так у нас мало светлого. Почему-то я была на пляже, до-

вольно рано. И вот, какая-то милая американочка-чудачка узнала меня на пляже, кинулась ко мне . . . — Ах, я знаю, вы Танья . . . Снэ-шко! ах, не могу забыть, как вы вчера «играли»! . . вы так волшебно пели про какой-то «звон» . . . Это она про это . . . про «Вечерний звон». У нас в программах дан перевод всех песен, довольно глупый, но все равно, что-то они улавливают все-таки. — «Ах, вы душка, я вас отметила, особенная вы, какая нежная, будто из лучшего фарфора» . . . Так, буквально, — «из лучшего фарфора»! — «Я, прямо, брежу . . . влюблена в вас! . .» Стала обнимать и целовать, чуть не задушила, потащила с собой в роскошную машину . . . Что она мне болтала только . . . все у ней перепутано, но очень-очень милая. И герои мы, русские, и большевики нас непременно должны впустить в Россию, и она сама напишет непременно президенту, скажет мужу, муж у ней сенатор и скоро будет президентом . . . а у брата сколько-то газет, и она его заставит все написать, чтобы все знали, какие у нас песни, и мы непременно должны «со всеми вашими казаками» приехать к ней в Бостон, у ней приемы, и вся Америка узнает. И вдруг привезла меня в сюкюрсаль парижского большого дома, от-кутюр, к Па-ту! . . Как сон чудесный. — «Нет, нет, я так хочу . . . это мне радость, что-нибудь для вас, самый пустячок, на память . . .» И приказала — «все модели»! Уж и досталось манекеншам. Долго выбирала, требовала все — «нет, нет . . . воздушней, мадам шатэнка . . . что-нибудь светлей!» Наконец, манекенша сумела «показать», русская наша оказалась, с тонким вкусом, юная совсем, княжна, прелестное дитя. Остановились на розоватом, бальном, «весеннем», — вышито зеленью, и чуть — фиалки! И чтобы я тут же и надела. Выбросила пять т. фр.! Я оцепенела,

прямо. Потом купили шляпу, этот «ореол», как ты сказал, огромную, до плеч . . . безумие! Шляпка . . . полторы тысячи! Дюжину шелк. чулок, три пары туфель . . . и Ира стала Золушка-принцесса. Полюбовалась мной, просила ей писать, и укатила, чуть не опоздала на трэнбле. И ты увидал меня, т а к у ю, у казино на пляже, проезжал случайно. Ах, милый, не забуду, какое было у тебя лицо, когда ты крикнул — Ри-на! И смутился, уж я ли это. Как ты на меня смотрел . . . уж не забуду. Как я тебя люблю, какая нежная у тебя душа . . . Ты мне сказал, как рыцарь, — «мадам? . .» И мы помчали.

Где только не побывали мы тогда! В Осгоре устрицами угощал, в «Палэ дез-Юитр» . . . завтракали после в розовом отеле, где «сосны-великаны». Нет, это на другой день мы были, все кутили. Ты был в ударе, стал декламировать из Пушкина — «Вновь я посетил . . . Три сосны стоят, одна пооддаль, а другие . . .» Нет . . . да, «две другие друг к другу близко . . . они все те же». Опять напутала, кажется, ну, все равно. Хотелось плакать, все всколыхнулось . . . Розовый отель на берегу, «Пти Пэн» . . . и ро-зовое платье. А ты, в рабочем балахоне, в масле . . . так чудесно было. Буду до конца дней помнить эти «Пти Пэн» . . . Как мы помолодели, как ты чудесно щурился, все хотел вспомнить, вызвать дачу в Павловске, что-то тебе похожее казалось. Воздух был жаркий, пряный, смолисто-горький, пить хотелось. И ты велел дать . . . шампанского! Помнишь, как та хозяйка, смешная усатая старуха, нас «сверлила»! Мы были сумасшедшие, влюбленные. Всегда влюбленные . . . ведь, правда, да? Это все радость сделала, мы обновились . . . подумай, такой пустяк! Ели чудесное жиго, омара, салат из «петушков» . . . и та старуха все сверлила своими щелками, «коринки в масле»! Не за-

буду. И выжила нас из перголя под «сосны». Вежливо, правда... — «ах, мсье-мадам... тут извините, занято...» Но это раньше, еще до завтрака. Помнишь, как англичанки щелкали зубищами на мое платье? Правда, оно немножко их... «эпатэ». Как они по-гусиному на нас смотрели! Такая «элегантная», и вдруг... со своим шофером, тэт-а-тэт! Так голо, так вульгарно нагло! А как они позеленели, вдруг мы заговорили по-английски! а «шофер» стал декламировать из... Шелли! И как тот старый англичанин, чопорный такой, совсем как лорд у бедняков из Диккенса, вдруг захлопал и сказал по-русски: «да это наши, русские!» И оказалось, ниакой не лорд, а милый, благодушный старикан, бывший беговой наездник, знаменитый в Москве когда-то Кинтон. Папиных лошадей тренировал. Все-таки искорка осталась.

Как я занеслась... Да, про о. Касьяна. Как он сказал на твои слова, что мир опустел, как это верно: «Господни зернышки не затоптать, ими и свет стоит...» Как верно...

Вчера не дописала, не могла, так меня всколыхнуло все. Теперь про скучное.

Твое взволнованное письмо меня расстроило. К. тебе все налгал. Не понимаю, или уж слишком понимаю, зачем он лжет. Чтобы раздражать тебя, чтобы досадить и мне? Он мне надоел своими «вздохами». Какое он право имеет мешаться в нашу жизнь? Я ему запретила бывать без тебя. Это или болезнь, он как-то неуравновешен последнее время, я замечаю... или сплошная гадость. Мелкий человек, а на войне, говорят, был героем. Уж не знаю, как это совмещается. Разыгрывает Яго... вот уж не к лицу-то. Лживый доносчик... гадость, гадость. Как ты мог поверить только, Ви?.. Нет,

я знаю, ты не мог поверить, что я скрываю что-то, это все нервы, одиночество, тоска. Ты рвешься, я знаю. А я-то, если бы ты знал... ночи не сплю, как там, на фронте. Успокойся, милый, все ложь. И про «похоронные венки», и про «одуревшего иностранца». Ничего подобного, конечно. Никаких «похоронных венков» мне не подносили. Что это у тебя, откуда это «предчувствие»? В выдумках видеть что-то. Выкинь, прошу тебя, эти дикие мысли из головы, ты — светлый. Это все нервы. И «носорог» тут не причем, а, напротив, проявил себя по-американски «джентльмэном». Ты спрашиваешь про ту «историю»... Вот как все было. Мне больно, как ты волнуешься. Как только смеют тебя расстраивать, зная, что тебе необходим покой... такая низость.

Ты про иностранца немножко знаешь. Его прозвали «носорогом» у нас в «Кремлэн». Это полк. Ломков прозвал так, лихой «встречатель». Когда иностранец в первый раз приехал, шикарнейший паккар, наш портье лихо подбежал на своем протэзе, отмахнул дверцу, — был немножко «с грунтом», — «словечки» эти! — а тот, большой, да и полк. тоже не маленький, случайно головой его в грудь, «как носорог»... отсюда и пошло. Чуть не сбил с ног. Очень извинялся, когда узнал, страшно был удивлен, кто такой портье, — лейб-гвардии полковник, с Георгием! Это наш граф сказал ему, — не понимаю, зачем так афишировать. Но наш «метрд'отель», хоть и дипломат, как он себя считает, любит иногда шикнуть А сам не любит, когда говорят — «бывший дипломат». И так доволен, что для шику придумали ему черкеску. — Даже приятно, что его зовут — «гора в черкеске». Но казаки наши изобрели свое — «дипломат в черкеске», соль-то! Так вот... ино-

странец не мог понять, почему т а к о й герой, — портье? Объяснили: просить не может, а отнимать у инвалидов последние гроши не хочет, — вот и портье. Очень удивился. Если бы знал, как герои ночуют под мостами, как их ... о, Господи! Ничего не знают. Если бы я была писателем, я так бы написала, что все бы со стыда сгорели. Не понимаю, почему не пишут о нашем — все, в с е ? О самом мелком даже. Ведь и в этом мелком ... ско-лько! Страдаания не увлекают? Жил бы Достоевский или Толстой! .. Они могли бы заставить содрогнуться весь мир, ты прав. В «чю-вствицах» своих копаться! .. Ну, записалась. Да, но они, все эти, и от Достоевского не содрогнутся, все «несгораемые», как кирпичи. Впрочем, я не совсем права, есть искорки ... нет, слава Богу, еще не все окаменели. А если бы в с е знали! ..

Этот иностранец, — он американец, «лесной король», — говорят, миллиардер. Какой-то странный. Что в нем? .. Но что-то есть, сейчас увидишь.

Стал у нас бывать чуть ли не каждый вечер, до рассвета, всегда один. Выберет столик в самой глубине, закажет сода-виски и сидит, сидит. Наш дипломат пробовал его раскусывать, но он неразговорчив. У нас его прозвали еще «сычом»: сыч приехал! Никогда ничего не требует по карте, даже и шампанского, ни разу. Думали, скупердяй, бывает это и у миллиардеров. Но наш Жан Петрофф дознался. Оказывается, за аппартаменты в первейшем из отелей, в . . .-Отель ... знаешь, сколько платит в сутки? Две тысячи! Только подумать ... в день, две тысячи! Наши шоферы говорили, что ему ставят чуть ли не по шесть франков за километр. За месяц он накатал по пустякам больше тридцати тысяч! Безумие. Ну, наш Жан Петрофф ждал «рос-

сыпей», хотя какие ему россыпи, все равно не разбогатеет, сам над собой смеется — «ворона бородатая!» И велел «заняться» иностранцем. Ждали, что появится «она», а «она» все не появляется. К. опять лжет: совсем не «хам», увидишь. Между прочим, поразило его, что граф-дипломат так англичанит, очень удивился: «как, вы не англичанин?!» Увидал на черкеске, «ленточку». Это еще более смутило: «легион»?! Нет, в них не вмещается. Но как же... разве нельзя более подобающую должность? Не понимают, что такое русский эмигрант. Наш дипломат говорит на семи языках, и — в черкеске, «метр-д'отелем». Граф ему сумел ответить: «мы без предрассудков, как вы, американцы». Тот ему чуть руку не сломал, пожал так. Графу-то, «горе»-то.

Ему у нас пришлось по вкусу, особенно «кокошницы». Как им выступать, всегда поближе пересядет. И вот, мои «песни» пришлись ему по вкусу, говорят — «пленили». Мне, разумеется, приятно. Ему лет пятьдесят, лицо тяжеловатое, но глаза мягкие, что-то наивное в них даже. Лицо довольно моложаво, свежее, совсем как папино, загар-румянец. Страшно напоминает папу. Папины манеры даже. Так меня это взволновало — увидала его лицо, особенно глаза. Папу ты только по портрету знаешь. Как увидала... — ну, папа... живой папа! Так все поднялось... Папа, папа... Папу по всей России знали, все уважали, называли новатором. Немного таких было. Даже шахтеры-бунтовщики любили, поднесли кирку серебряную в юбилей, так он был тронут этим. А сколько сделал для России! Заводы, шахты, жел. дороги, школы, образцовые хозяйства, а миллионером так и не стал, не думал о богатстве. И успевал писать в англ. и америк. журналах, специальных. И его убили!.. Отдал всего себя, все дела оставил,

целую войну на фронте, организовывал военные заводы, лазареты, пункты... был исключительный организатор. И меня зажег, свою любимицу, последышка. Что я была... кисейка, институтка, «хрупка». Звал меня — «хрупочка моя». Как мы с ним жили в эшелонах, как он гордился, что с ним его «оруженосец». Все мы оруженосцы были, и только одна «хрупка» уцелела. А как он принимал утраты... какая нравственная сила... Подумай, все трое... братики мои... Глупая, пишу такое. Милый... мои утраты! У всех утраты, все сравнялись. А твои-то... Милый, вижу твои глаза, синие мои, целую, дышу на них.

Тот американец папу напомнил мне. Папе теперь было бы... шестьдесят один год, только... ровно на тридцать три года старше меня... «ровно тридцать лет и три года», — все говорил, бывало. И тот американец такой же с виду нелюдимый, закрытый, совсем как папа. А поглядишь в глаза... — это я про папу, вспоминаю, — в с е и видно, ясная душа какая! Папа очень любил мой голос и настоял, чтобы я непременно училась пению. Вот и пригодилось... Я брала уроки у милого Д..го, знаменитый когда-то тенор. Он всегда говорил: «итальянок» из вас не выйдет, вы какая-то... вне формы». Правда, я — «вне формы». Мы с ним разучивали русские только партии. Татьяну пела ничего, Ярославну лучше, но когда он начал со мной мученье над Февронией из «Китежа», на третьем уроке поцеловал меня и сказал — «вот, это уж т в о е». Все оборвалось...

Зачем я вспоминаю это, пишу тебе? Там, перед этими, мне трудно петь, и больно петь ту «песню», о России. Надо ее чуть слышно, совсем одной, чтобы никто не слушал. А требуют. И т е м что-то передается, чув-

ствовала не раз... передается что-то. Слов не понимают, — в программах дается только общий смысл, — а слышат, знаю. Я пела о метели, о степной пурге, о ветрах... — «Замело тебя снегом, Россия, запуржило седою пургой...» Когда я начинаю вторую строфу — «Ни пути, ни следов по равнинам... по равнинам безбрежных снегов не добраться к родимым святыням, не услышать родных голосов...» — у меня захватывает дыханье. Я пела. Он сидел близко, поставив локти, и его глаза смотрели напряженно на меня. И вот, когда почувствовала, что меня душат слезы, уж нечем петь, его напряженное лицо вдруг передернулось. Я не могла закончить, ушла. Потом я плакала... Пришлось вернуться и начать снова. Когда я раскланивалась на крики и аплодисменты, увидала иностранца. Он стоял слева от эстрады, у стены, засунув руки в карманы своей спортсмэнской куртки и смотрел дико как-то, исподлобья. На другой вечер... Да, надо еще про «венки».

Мне часто делали подношения, цветы, ты знаешь. Иногда граф передавал мне деньги, пятьдесят, сто франков, но это редкость. Тот голландец, я говорила, сделал исключительный презент, триста фр. Последние дни перед «историей» я стала вдруг получать чудесные белые цветы, орхидеи, гардении. Гардении, мне говорили, здесь крайне редки, их выводят в оранжереях в Англии, — это, говорят, цветок английских лордов, уж не знаю. Как их доставали, уж не знаю. Пахнут они... похоже на магнолию, но тоньше. Только быстро вянут. Граф мне передавал от имени американца. То-есть, я его спросила, и он сказал. Как-то я получила большой венок... не получила, а влез на эстраду какой-то неуклюжий, с лиловыми щеками, — после оказалось, аргентинец, — и бросил к моим ногам. Так дико вышло...

оказывается, он был пьян и, говорили, спьяну попал вместо цветочного магазина в... помп-фюнебр! Больше он не являлся. Из этой глупости сделали «похоронные венки».

Так вот, на следующий вечер... только что я вернулась от тебя, очень запоздала, вышла петь в первом часу ночи. Американца не было. Когда я кончила, граф поднес мне огромное плято, белые орхидеи, гардении и в середине голубой веночек, незабудки, — от американца, сказал он мне. Мне было как-то не по себе, тоска. Долго я не могла заснуть, думала о тебе, глядела на эти незабудки и плакала. Вспомнился бедный папа. Казалось странным: от американца, и — т а к о е... сантиментальное. Такое давно оставлено, забыто. Утром я увидала, что плято серебряное, с чернью. Ты увидишь, это произведение искусства. И в середине, где незабудки, врезано красиво, тончайшим золотом, два слова, по-английски — "Light in Darknes", — «Свет во тьме». Это меня странно удивило. Что это значит? что за символика? Вспомнила, что это слова из первой главы Евангелия от Іоанна, которое читается на Пасху: «и с в е т в о т ь м е светит, и тьма не объяла его». Какой смысл этих золотых слов? Мое пение — с в е т... а все — т ь м а? Для меня совершенно ясно, что тут не «излияния чувств», не я сама, а что-то пробудило в нем пение... не знаю. Во всяком случае, не ординарное, не пошлое. Прошло три дня, американец не являлся. И вот, произошла «история». Передаю все так, как слышала от графа, все происходило на его глазах.

Наконец, иностранец появился. Сидел он довольно близко от эстрады и пил не сода-виски, а почему-то — бранди. Был, по словечку графа, «а-пен-деми-суль», а по словам казаков — «хлопал». Вот себя и поймала, ты

прав, стали и у меня «словечки». «Окраска», липнет. В зале было шумнее обычного, все полно. Выход мой благополучно кончился. И тут все и случилось.

Еще когда я пела, кто-то мешал бурчаньем. Это меня нервило. И вот, только я ушла, пожилой голландец, мож. б. тот самый, расщедрился-то на 300 фр., сказал... «не совсем салонно», как выразился дипломат. Он был недалеко от иностранца и слышал. Разумеется, я не стала его расспрашивать. Сказала еще, что «сыч вылез из своего дупла и бурно реагировал». Но Саша Белокурова поспешила все мне «объяснить». Я знаю, ты ее не любишь за ее циничность и вульгарность, — эту, как ты зовешь, «мясную лавку». Я не терплю ее «словечек». В общем, она, вот именно, вульгарна, «гола» — «мадам сан-жен», по дипломату. Но тут она была искренна, даже расплакалась. Обняла меня, стала целовать: «пусть бы так про меня... но ты-то, ты... за что!» Не выношу этого ее «ты», но тут она была искренна. По ее словам... пишу тебе все, как ты хотел, — пьяный голландец пробурчал негромко, будто сам с собой, — «интересно, сколько эта стоит?» К. тебе сознательно преувеличил, чтобы раздражить. Слов — «за сколько можно иметь» — не было сказано, хотя... смысл тот же. Ты хотел, чтобы я все сказала, вот «все». Голландец уверял, что это относилось «к другой особе», которая меня сменила. После меня выход Саши Белокуровой... м. б. потому и плакала она, не знаю. Мне ее жаль, жизнь ее, как она говорит сама, «случайная». Подобное у нас бывало. Ну, бывают пьяные, ну... «иностранное веселье». Тот, американец, принял бурно. Поднялся, повалил стол, мрачно придвинулся к голландцу и без слов ткнул кулаком под челюсть. Голландец покачнулся, схватил бу-

тылку, граф почему-то растерялся. Американец снял смокинг, — в тот вечер он был в смокинге, — и крикнул — «бокс»! Говорят, был страшен. Казаки говорили: «так распалился, аж дым валил!» Крикнул голландцу что-то вроде «мразь», — должно б. — "muck". Наш дипломат встал между ними и каким-то «мо» все это ликвидировал. Голландец извинился, предлагал американцу «дружбу», но тот бросил ему — "you can go to the devol!" — «к чертям!» — надел свой смокинг и уехал. Эти вечера не появлялся. Вот и «все».

Я не стала бы тебе писать об этом, если бы не твое письмо. Сердце рвется к тебе, но я обязана выступать все вечера, поездка берет весь день, автомобилем страшно дорого, больше 200 франков! — надо беречь деньги, чтобы скорей освободиться от нашей каторги. Оба раза, как была у тебя, возвращалась в 12 ч. ночи, разбитая. Умоляю, побереги себя, не прерывай лечения, это безумие. 22 непременно вырвусь. Помни, без тебя не жизнь, если бы ты знал, как трудно, как пусто, милый . . .

Столько написала, и не заметила, а целое послание. Уже семь часов утра, а я и не ложилась, и спать не хочется. Часто теперь бываю в церкви, легче. Какие у нас новости? . . Тетя из Парижа пишет, делает теперь куклы для иностранок, в моде «кормилицы» и «казаки». Беднягу поручика Рожкова положили в госпиталь, защемление грыжи, от ящиков на ж. д., чуть не умер. Старенький наш генерал устроился, наконец: плонжером, тяжело ему. Обещают более легкую работу, наклеивать афиши. Да, вот еще . . . из «психологии».

Против нашего отельчика, в особняке, где кедр, поселилась одна пожилая мисс, очень бонтонная, и любит русских. Ты помнишь на нашей улице, «голубков»:

старичок, быв. чл. гос. сов., с бачками... ты еще говорил, что похож на дряхлеющего барса, и его милая старушка. Они всегда гуляли вместе. Еще у ней лорнет, и она все через лорнет, на все, даже на своего старичка. Чистенькие всегда такие, дружные, все вместе, как голубки. Оказывается, они уже голодали, только теперь узналось. Старушка недавно заболела и слегла, ноги у ней распухли. И вот та мисс решила им помочь. Но как это так сделать, чтобы не задеть их самолюбия? А она знала, кто этот старичек, ну... вроде, пожалуй лорда. И вот придумала... прямо, анекдот. У соседней консьержки есть собака, огромный пес. Милая мисс приметила, что этот пес все у окошка, и морда скучная. Вызвала консьержку и спросила строго, водят ли собаку погулять. Та ей сказала, что у ней нет времени гулять с собакой, а выпускать одну опасно, бросается. Мисс это огорчило. А она страшная собачница, у ней особая девица для ее рика и рака. Тогда она купила дорогой ошейник и хороший ремень и велела своей девице прогуливать консьержкина пса вместе с рико-раком, но пес чуть их не разорвал. Тогда она решила... предложила его высокопревосходительству прогуливать собаку два часа в день за десять фр. Старичок принял это стоически, м. б. внутренно оценил «жест» мисс, — ну, если такая «психология»! Очевидно, уже д о ш л о . И вот, он регулярно прогуливает собаку и зарабатывает ежедневно 10 фр. для «голубки» на лекарства. Но если бы ты видел, как он их зарабатывает! Пес его возит на ремне, и бедняга, буквально, е з д и т ! Соседи зубоскалят! «наш генерал изволил в ы е х а т ь !» Наши, понятно, не смеются. Впрочем, эта мисс очень отзывчивая, недавно дала сто фр. на детский праздник. Я, как увижу, думаю, какие чув-

ства у старичка к этой мисс и к ее протежэ? Со псом он ласков, присядет на скамейку, пес трется об его острые коленки, а старичок щекочет ему за ухом. Если встречает мисс, торопливо стягивает перчатку, — он всегда в перчатках, — снимает шляпу и раскланивается любезно. Мисс ласково кивает. Наш доктор, когда узнал, загорячился по обыкновению, вставил в глаз свой монокль, как Чемберлэн, — это он всегда, когда взволнован, — и сказал самое крепкое свое словечко — «свинья!», и тут же облегчился «философией»: «впрочем, это еще идиллия в нашей эмигрантской жизни».

Что еще... Да, твой вестовой Карпенко женится, поздравь его. На угловой торговке примёрами, помнишь «стог»-то? А он жердь-жердью. Ей под пятьдесят, но с капитальцем. Я его стыдила, а он смеется: «пока, до России, хоть фру-хтами отъемся». Тоже «идиллия». Опять видела этот кошмарный сон, будто мы с тобой в Харькове, бродим по темным улицам, ни души, с нами карт-д'идантитэ, и вот, сейчас нас арестуют... Вчера была память мамы, служила панихиду.

Ах, дорогой, если бы ты знал, как . . . . У меня покупают то платье, дают полторы тыс.... продать, пожалуй?.. . . . . и целую крепко-крепко. 22 — непременно!

Твоя Рина.

Все, что писала Ирина мужу, была правда; но она не могла всего написать ему: надо было его беречь.

Ему претила «кабацкая» ее служба ночной певицы — «на потеху этой международной пыли», выражался он в раздражении, — но она успокаивала его: ведь это только пока, на какой-нибудь год-другой... и это ее никак не унижает, а лишь поможет скорей освободиться от подневольной жизни; они непременно отложат тысяч пятнадцать-двадцать, заарендуют ферму, займутся куроводством и будут сами себе хозяева. Полковник Одинецкий продавал в Константинополе пирожки и бедствовал, а теперь выгоняет в теплицах землянику, завел тысячу белых кур и собирается даже купить машину. Он, как всегда, отдавался ее успокоениям. Да и невозможно было не покоряться ее глазам, в которых сияла голубая душа ее — ясность и чистота. Но за два года удалось отложить только четыре тысячи. Ирине были необходимы туалеты, кроме ее «боярышни», и он хотел видеть ее всегда изящной, особенной. Она и была для него особенной: он называл ее — «отыскавшаяся Мисюсь». И в самом деле, первая встреча их произошла случайно, как в чеховском рассказе, только совершенно в иных условиях.

Летом девятнадцатого года их полубатарея случайно задержалась на каких-нибудь четверть часа, на разъезде «Песчаное», под Купянском, и удалось наскоро выкупаться в пруду, возле какого-то имения. Спешили на Волчанск, на Белгород... Купаясь, штабс-капитан Хатунцев привычно прикинул местность — и увидал белый господский дом, стоявший в конце аллеи высоких елей, и это что-то ему напомнило, — свет какой-то?.. Много господских домов перевидал он в походах, но этот приятный пруд, эта уютная аллея и

белый дом показались ему «совсем родными». Вот бы, пожить недельку и отдохнуть душой! Полковник Кологоров, сам купавшийся с упоением, как буйвол, тут же и начал торопить, только что влезли в воду, — «нечего, господа, манежиться!» Когда бежали к разъезду, вправляя в штаны рубахи, Хатунцева оглушил мелодичный, спешащий голос, в котором чувствовался восторг и нежность, — «родные . . . выпейте молока! . .» И он увидал . . . Мисюсь. У столбового въезда в имение, у крепких ворот — «со львами», совсем как там! — стояла тонкая девушка, — ему показалось, девочка, — в светлой прозрачной блузке, и держала две черные крынки с молоком. Тут же стояла босая хохлушка-девка с пшеничным хлебом на ручнике. Все трое отдали честь «чудесной» и прокричали восторженное ура. Он припал к крынке и насладился вдосталь и волшебным, «небесным», молоком, и незабудковыми глазами, нежно следившими, как он пил. В этих незабываемых глазах сияли восторженные слезы. Все горячо благодарили и целовали руки, торопились. Славная девушка сказала, взволнованно и нежно, глотая слезы, — «какие вы все . . . хорошие! . .» — что-то еще хотела и не могла. Он задержался на минутку. — «Ах, какая вы славная . . . Мисюсь! . .» — вырвалось у него, в восторге. Она удивленно и радостно взглянула, а он, не помня себя от счастья, от хлынувших вдруг воспоминаний чего-то неизъяснимо светлого, стал говорить ей спутанно и страстно, — полковник кричал — «не увлекаться!» — что она самая-самая Мисюсь, пропавшая там, когда-то, — и вот, явившаяся в огне войны. Она с изумлением смотрела. Он показывал ей на белокаменные столбы со львами, на аллею, на белый господский дом . . . — «с

мезонином... вы помните?.. — все, как **тогда**, у Чехова!»

— Маленькая Мисюсь нашлась... Сколько мы повторяли, с грустью, — «Мисюсь, где ты?» — и вот, маленькая Мисюсь нашлась... — радостно говорил он ей, каменным львам, аллее, держа ее тоненькую руку, теплую, в молоке, а она растерянно смотрела сияющими от слез глазами.

— Вы на Харьков?..

— Нет, на Волчанск, на Белгород...

— Ах, скорей бы!.. — вырвалось у нее мучительно, — папа и мама там...

— В Белгороде?.. как адрес, фамилия?..

— Нет, они в Харькове, случайно...

— Харьков возьмут сегодня!.. И вы... — торопился он, целуя ее руку, — не тревожтесь, все будет хорошо... Прощайте, славная, милая Мисюсь... как тут у вас чудесно!.. прощайте!.. Если бы только — до свиданья!..

И они встретились в Севастополе, год спустя. Она уже была — сестра, перенесшая много испытаний, всех потерявшая, и все такая же славная, Мисюсь. Случилось чудо, одно из многих, тогда случавшихся. Мисюсь не могла исчезнуть.

«Я знал», — говорил он потом не раз, — «что встреча повторится. Она не могла не повториться! Если бы ты пропала, совсем, навсегда пропала... тогда бы и жизнь пропала».

Бывший студент, филолог, он не имел сноровки заправского шофера. Почитывал на стоянках Шелли, Анри дэ Ренье и Чехова, и упускал клиентов. Чехова он боготворил, считал его самым тонким из всех писателей, хоть бы и мировых, самым проникновенным, **веч**-

ным, и готовил о нем задуманную давно работу — «Вечный свет Чехова». Шоферством тяготился, ночной работы не выносил, не завозил гуляк в заведения и гнушался комиссионных — за доставку. Годы войны, борьбы обострили в нем привитое воспитанием чувство чести и личности. Он не выносил грубости, избегал комиссариатов, и выбирать carte d'identité было для него мучением. Его коробило, когда хамоватые клиенты швыряли ему «ты» или пренебрежительное «моншэр». Между своими слыл он за чудака-идеалиста, который почему-то отказывается от пур-буаров. Правда, никак он не мог привыкнуть к пур-буарам. Когда удивленные клиенты отмахивались от возвращавшегося им франка, а некоторые оскорблялись даже, он пожимал плечами с брезгливым видом. Был еще такой случай.

Какая-то рассеянная американка забыла в его машине сумочку с драгоценностями, около миллиона франков, как она ему объявила. Случилось это в Байоне. Целый день мотался он по Байоне, разыскивая ее, — в комиссариат ехать не хотелось, — нашел уже к вечеру в Андай и вручил сумочку. Произошел интересный разговор.

— А, благодарю. Надеюсь, все в порядке?

— Не знаю, поглядите.

Она порылась, небрежно-бегло.

— Главное, жемчуг здесь... прочее — пустяки. Сколько же вы хотите?

— Уплатите по счетчику...

Она не дала сказать.

— Я не понимаю... какой счетчик? Я спрашиваю, за это сколько? — мотнула она жемчугом, сказав по-английски, про себя, — «все хитрости!»

Он ответил ей по-английски, резко, как швыряла ему она:

— А теперь я вас не понимаю, при чем тут «хитрости»? Вы забыли ваши пустяки в моем такси, я целый день вас проискал, чтобы вручить вам ваши пустяки ... по счетчику выходит около трехсот, с обратным до Байоны ... кажется ясно.

— Хорошо, — сказала она, кусая губы, — тысячи с вас довольно? — и протянула тысячефранковую бумажку.

— Я сказал вам совершенно ясно: триста франков.

— Отлично! — воскликнула она запальчиво. — это вам за работу. А за вашу ... ну, любезность?

— Это не определяется бумажкой.

— Чем же это определяется? — сказала она, прищурясь, всматриваясь в него.

Он пожал плечами:

— Тактом? .. Но раз уж так хотите ... определить, извольте: сдачу с вашего билета отошлите по адресу, я вам оставлю ... на русских инвалидов.

— Так вы не француз, не англичанин ... вы русский! А, тогда понятно.

— Очень рад, что вы поняли: вот мы и сосчитались.

— Вы, конечно, офицер? Что-то я слышала, русские офицеры теперь шоферы? Куда же вы так спешите, может быть коктейля выпьем? Вот как, не пьете ... Знаете, у вас очень интересное лицо, что-то от Рамон Наварро ... Но в дансингах-то вы бываете, надеюсь?

Она была глупа, вульгарна. Он сухо поклонился и ушел.

Оказалось, американка отослала «русским инвалидам» семьсот франков. Он подосадовал: жаль, что не потребовал тысячи две-три — на инвалидов: дала бы,

хотя бы из упрямства. И сделал вывод: все-таки, вычитать умеет.

Эти «чудачества» Ирина особенно в нем любила и сознавала с болью, как тяжело ему, что она выступает «в кабаке».

После случайного оседа на «Кот-д-Аржан», — приехали в По к знакомым, побывали у океана, и им понравилось, — у них родилась девочка Женюрка, не прожила и года и в три дня померла от менингита. Это их потрясло ужасно, и они страшились иметь детей. Весной Ирина списалась с меценатом, собиравшимся основать в Париже русскую оперу, — дело было отложено на осень, — Виктору улыбался случай, через англичанина-клиента, поступить в парижский английский банк, — планы с их фермерством померкли, — и они ждали осени, как случилось нежданное.

Еще в Галиции Виктор был ранен в грудь, и пуля осталась в легком. Рваная рана — на излете — не заживала долго, врачи не решались извлечь пулю, но организм все же справился, пуля как-то «обволоклась», Виктор вернулся в армию и потом проделал тернистый путь русского добровольца вплоть до Галлиполи. Двоюродная тетушка Ирины, сохранившая некоторые средства, выписала их в Париж, соблазнив Виктора Сорбонной, — он уже собирался в Прагу, где выходила стипендия, — но в первые же дни их появления в Париже крахнул солидный банкирский дом, где тетушка держала свои деньги по совету родственника-князя, тоже все потерявшего, и они очутились в трудном положении. Виктор пока оставил планы о Сорбонне, выдержал испытание и стал шофером, но скоро заболел тяжелым гриппом. Ирина ждала ребенка. Стало трудно. К счастью, — так думалось, — устроившиеся друзья пригла-

сили их отдохнуть на ферме, в Нижних Пиринеях, возле По. И они основались в Биаррице.

В половине августа, — день был необыкновенно жаркий, — знакомые шоферы привезли Виктора в отельчик, почти без чувств и залитого кровью. Знакомый по Парижу русский доктор, отдыхавший на океане, — Виктор знал его по войне и в добровольчестве, — определил кровоизлияние в левом легком, где была пуля, и принял меры, одобренные и французом-консультантом, позванным перепуганной Ириной. На диагнозе врачи столкнулись. По мнению француза, было... — он назвал э т о длинным латинским термином, разумея легочный процесс, вдруг обострившийся. Русский не согласился с этим, вставил в круглый свой глаз монокль — признак глубокого раздумья — и заявил, что это... «или „проснулась" пулька, что бывает... или, от давнего у ш и б а пулькой, в итоге многих предвходящих, образовалась склеротическая анэвризма». Отсюда — и кровохарканье. Снимок рентгена обнаружил анэвризму бронхиальной артерии, и оба врача сошлись: явного «процесса» нет, но необходимо серьезное лечение. Больной быстро поправился, но кровохарьканье и «вялость сердца», как выразился осторожно русский доктор, так потрясли Ирину, что она умолила мужа бросить ужасное шоферство и чуть не силой увезла его в санаторий в Высоких Пиренеях, где горы делают чудеса. Русский поморщился, когда Ирина сказала о горном санатории, но француз одобрил. Русский настаивал: не выше 300 метров! Француз называл Ароза, Давос, где т а к и е успешно лечатся на высоте в 1500 и даже 1800 метров, — как же не знать такого! Русский твердил упрямо: «п о н и ж е, не забывайте — анэвризма, сердце...» Где-нибудь возле По, но только бе-

жать от океана. Споры сбили Ирину с толку. Особенно подействовало, когда француз сказал, прищурясь, — в отсутствии коллеги, разумеется, — «а, коллега военный доктор...» — и она послушалась совета одной француженки, брат которой, раненый тоже в грудь, с таким же кровохарканьем, поправился быстро в Пиренеях, в санатории «Эдельвейс». Там брали безумно дорого, смотря по комнате — от двухсот пятидесяти до тысячи франков в день, не считая «лабораторной части», но для русского комбатанта-офицера, у которого «такая нежная жена», — Ирина побывала в санатории и переговорила с самим директором, — чрезвычайно внимательный директор сделал исключительную скидку: сто франков, в комнате на двоих, плюс «пониженные лабораторные издержки». Конечно, и это было не по средствам, но Ирину это не пугало: месяца на два хватит, а там — увидим. Мужу она сказала, что берут очень дешево, тридцать пять франков в день, только просят держать в секрете. Русский доктор поморщился и махнул рукой: силой не втащишь в рай. Он был превосходный диагност, но еще и философ, и очень религиозный человек: «все в руце Божией». Потому и не стал настаивать.

Виктору он сказал:

— Помните твердо, Виктор Сергеевич, что «по вере и дается!» Это вывод и людей большого духовного опыта. Помимо видимого лечения, важно еще другое, невидимое, внутреннее... не уговаривающая система некоего Куэ... эта система — дешевые процентики с чужого капитала... кому и помогает... а нужно внутреннее познание, приятие всем сердцем непреложности и спасительности для нас тех путей, которыми Господь ведет нас. Когда это *приятие* всем сердцем, тогда

обретете то спокойствие, которое удивительно помогает видимому лечению, до чудес. Все это выражается в одном замечательном стихе, который повторяйте чаще: «Господь мя пасет — и никто же мя лишит».

Виктор пожал благочестивцу руку: он видал, как философ-доктор выносил раненых под огнем. Французский доктор этого не слышал. Да если бы и слышал, пожал бы плечами, только.

Санаторий был небольшой, но исключительно комфортабельный, — для иностранцев больше, — и оборудован по последнему слову гигиены. Пациентов два раза в день растирали каким-то магическим экстрактом из пиренейских трав, — называлось это «питанием кожи витаминами», — и поили густыми сливками с прибавлением капель сока горной сосны и еще чего-то. Об этом волшебном средстве печаталось в газетах и проспектах, и портрет открывшего это средство доктора — он же директор санатория — изображался самым наглядным образом. Слева — лежал на носилках молодой человек-скелет, а доктор, плотный, глубокомысленный, в больших роговых очках, подносил безнадежному больному ложку волшебного экстракта с таким видом решимости, точно вот-вот услышишь: «а вот вы сейчас увидите». И правда: справа — бывший скелет, теперь жизнерадостный «альпиец», с горным мешком и альпенштоком, взбирался на неприступный пик, повернув радостную рожу к целителю, стоящему далеко внизу, на крыльце санатория, с торжествующе-поднятым пузырьком экстракта.

Пациенты весь день проводили на веранде, открытой на юг — к Испании, в особенных креслах на шарнирах, купались в солнце и наслаждались волшебной панорамой вершин, ледников и далей. Кормили превос-

ходно, витаминно. Ежедневно в меню входило особенное блюдо — полусырое мясо горной козы, с приправой из горьких трав.

Ирина была растрогана, когда толстяк-директор, похожий на добряка-банкира, — он же и главный доктор, — почтительно ее заверил, что считает высокой честью для санатория отдать симпатичному русскому герою все силы и средства учреждения. Взволнованная свиданьем с мужем и этим «раем у облаков», — облаков, впрочем, не было, — она совала бумажки направо и налево, всем, кто ни попадался ей на глаза, — сестрам и фельдшерам, массажистам и горничным, уборщицам и мальчишкам, поварятам, привратнику, даже санаторному шоферу, приподнявшему перед ней фуражку, — чтобы только заботились о Викторе. И когда уезжала — плакала. Если бы можно было, она осталась бы с ним до полного излечения. Но теперь нужно было работать и работать, вызывать бурные восторги и подношения.

Сидя в купэ вагона, она вдруг вспомнила, как кто-то из лежавших на веранде в плэде сказал по-английски, как бы в мечтах: «прелестное виденье!» Такое слыхала она не раз, и это ее не восхищало. Но теперь это ее растрогало, и сказавший это — не помнила, молодой ли, кто он, — стал ей душевно близок. И вспомнила еще девушку-испанку, такую же черноглазую, как Кармэн, — кажется Микаэла? — принесшую Виктору виноград. Она так хорошо смотрела, совсем влюбленно, на русского молодца-красавца и так мило картавила — «о, ман-сиера капитэна!» — и все краснела, — хотелось расцеловать ее. Виктор ее выделял из всех там, называл — «чистое существо, красавка». Да и все такие чудесные и добрые.

Два раза за этот месяц она навестила мужа. Виктор чувствовал себя хорошо, прибавил около двух кило, совсем от загара почернел, только стал очень раздражительный. Увидав ее, он побледнел от волнения и задохнулся, — это было второе посещение. И решительно заявил, что довольно дурачиться. Она взмолилась ему глазами, и он увидал в них страх. Он взглядом ответил ей, что готов покориться ее воле, как покорялся всегда, — она поняла без слов, — но надо же быть разумными. Вся эта бутафория и не по средствам, и совсем ему не нужна, и невыносимо сознание, что она от него страдает, одна работает, а он належивает бока, как кот. Она опять умоляюще взглянула. Кругом лежали, ошарашивали Ирину взглядами. Она была в черном шелке, тонкая, гибко-легкая, как дымок. Светло-каштановые ее кудри играли на нежной шее из-под широкой соломки с лентой. Надо было многое сказать ей, и они спустились в уютный «салончик у каскада». В огромное круглое окно можно было там любоваться водопадом, катившимся с ледников по глыбам.

— Боже, как здесь чудесно! ..

Да, чудесно ... для богачей-бездельников, передохнуть недельку, пофлиртовать с милыми сестричками, — все они здесь ручные, — но для него отвратительно, невыносимо. Ну, зачем же плакать? .. Он предпочел бы огненные ночи под Мелитополем, вечное — «что-то завтра?» — лишь бы не расставаться с ней. Она прильнула к нему и умоляла, без слов, глазами ... — ну, немножечко потерпеть?! ну, для своей Мисюсь! .. Он снимал ее слезы поцелуем, он сдавался ... «Сказать? ..» — билось в ней сокровенное, радостное, сладкая и мучительная «тайна», еще не решенная в ней самой. «Сказать? ..» Нет, тогда и минуты не останется без нее.

Пенился водопад по глыбам, — бежало время.

Здесь можно было бы отдохнуть чудесно, если бы не... Из персонала, лучшее — это Микаэла, милая девочка-простушка, — «в ней что-то наше, степное-полевое, и чистое». Великолепно кормят, воздух — само здоровье, но душевная атмосфера нестерпима. Послушать только, чем они все живут!.. Спорт, возведенный в культ, биржа, бридж с утра до ночи, и флирт. Что читают! Здесь свое синема, и надо видеть только, чего им нужно. И эти прокисшие сливки континента и островов... с упоением, с похотливым зудом, что-то жуют об «опыте», о «всеобщем взрыве», с легкой руки «Моску», — будет чертовски интересно! Что они знают о России!.. — будто с луны свалились. Славный «генерал Кхарков» — для этих даже недосягаемо. Где, у кого учились? И э-ти... будто бы оценили Чехова! э-ти, английские молодцы, тут их порядочно, не знающие ни строчки Шелли, еще болтают о «кризисе искусства!» Сравнивают чистейшего с... Оскар Уальдом! Нет, нервы тут не причем, надо пожить с такими, тогда... Чуждые по всему, чужие. Но ужасней всего жить в одной комнате с кретином. Наша солдатская казарма — святое место! Вот она, «скидочка», чорт бы ее побрал! С ним поместили тулузского парня-лавочника, который его изводит грязными анекдотами, походя жрет чеснок, говорит сестрам гнусности, и воздух в комнате!..

— Нет, ради Бога, возьми меня... я же совсем здоров.

— Но если это ну-жно... ми-лый!..

Он видел, как ее мучает, взял ее тоненькую руку, лапку, и помотал.

— Ну, хорошо, не надо, моя Мисюсь... ну, отмахнем

все это... — сказал он заветным тоном, каким говорил всегда, прогоняя ее тревоги.

Он целовал ей «лапки», пальчик за пальчиком. Все будет хорошо, он совершенно здоров, стеснения в груди кончились, и можно опять за руль, а там, в Париже... Ну, останется еще неделю, завтра тулузец уезжает. В библиотечке только авантюрные романы, и какая она умница, привезла Тютчева и Эдгарда По... вот именно, английского. Перечитал вчера, который уже раз, «Скучную историю», — какая же свобода, простота и мудрость. Какое счастье, что ты русский, что у тебя — такие!..

— Рина, я не могу высказать тебе... — говорил он восторженно, целуя ее руки, — до чего остро я здесь почувствовал... не с теми, а вот здесь, перед этим гремучим водопадом, перед этой бегучей сменой... как мы исключительно богаты, богаче всех...

— Как ты волнуешься сегодня, у тебя нет жара? — попробовала она губами у висков, — сколько сегодня было?..

— Да нет, нормально. Правда, я как с шампанского... и плохо сплю, но это я от счастья, что ты со мной... Так много передумал за эти дни... какие выводы! Да мой Карпенко духовно глубже, богаче э-тих! Помнишь, как метко выразил он все наше? кто подсказал ему? Когда говорили о России, о Европе?.. Не читал он ни Достоевского, ни Данилевского... истории не знает, ни культуры, а... Я тогда записал этот «солдатский афоризм»... «Наша дорога длинная, ваше благородие... по ней и дыханье у нас, до-лгое... значит, так уж допущенно, чтобы хватило, ваше благородие!» Ну, подумай, кто здесь так скажет! Вложено, есть. Что только можно с такими сделать! Эх,

дотянуть бы... Пересмотрел я свои «Записки», вспомнил своих соратников, милых моих наводчиков, фейерверкеров, номерных... ка-кие были! Перерыл в памяти... — до слез! А однобатарейцы, офицеры... какие души были, характеры! Теперь, в пустыне, все искалечены... и — живы! Нищие, наюру, иные опустились... а как зацепит душу, закваска бродит, требует ответов, мучает неразрешимым, вечным... нет, не погаснем! не гаснем, нет... Осмеивали Чехова, и знаем все же, что Чехов прав! «Неба в алмазах» ждем и жаждем, и дождемся... миссия такая наша. Богачи!..

Она любовалась, какой он оживленный и красивый, душой красивый, чудесный, светлый.

Испаночка подала им ягурт и виноград. Не сказала певуче, как прошлый раз, — «ман-сиера капитэна», и глаза у ней были красные. Что с ней?

— Завтра уезжает, бедная. Получила письмо, утонул брат, и еще двое из семьи... Пришла ко мне с письмом... прямо, трагедия. Все песенки мне пела, раньше, и пришла... ну, как ребенок, — «что мне делать... ман-сиера капитэна?»... Тетка ей написала и приложила последнее письмо брата к молодой жене, она беременной осталась... там и приписка Микаэле. Я перевел со словариком и записал, этот «человеческий документ», дам тебе, на досуге прочтешь дорогой. Очень интересное письмо... можно бы написать рассказ. Чехов бы написал! и Мопассан... по-разному бы только вышло.

Он рассказал ей, что случилось. Брат Микаэлы женился, совсем недавно, по любви. Отец жены дал им в приданное единое свое богатство, шхуну, и сказал: «кормите меня с племянником». У невестки был юноша-племянник, от брата, убитого жандармами, контра-

бандиста. Шхуна называлась «Ми Уника», — «Единственная моя». Действительно, была единственной у старика. Подошло и зятю, — «единственная», тоже. Все трое вышли в море, повезли руду, и — сгинули. У Аркашона выбросило труп старика; шхуну, с пробитым боком, выкинуло у Осгора. И все.

— Вечное человеческое, страдание. Да, «единственная моя» . . . мы это знаем, все . . .

Ирина плакала.

— Ну, вот . . . расстроил . . . ну, милая . . .

Сидели долго, связанные болью и любовью. Водопад бешено валился сменой.

Уезжая, Ирина говорила с доктором. Анализы были благоприятны, сердце приходит в норму, просвечивание необходимо повторить надо следить за «телом» и принять меры своевременно . . . надо установить, кончились ли «вибрации». Если они будут продолжаться, если «тело» имеет наклонность к перемещению, — доктор разумел пульку, — то придется прибегнуть к . . . — Ирина испугалась и не расслышала. О возвращении вниз нечего пока и думать, но месяца через три-четыре будет видно, но главное — ни-каких волнений.

Ирина помертвела, почувствовав в словах «и думать нечего», сказанных даже грозно, предостерегающе-жуткий смысл.

— Но что же делать, до-ктор? — спросила она с мольбой.

— Прежде всего не плакать . . . — ответил галантно доктор, любуясь ею, — и положиться на учреждение, которое прилагает все . . .

В бюро ей подали счет «за лабораторную часть», на живописном бланке с магическим экстрактом, на девятьсот франков с чем-то. Ирина растерялась, такой

суммы с ней не было, но ей очень предупредительно сказали, что это и не к спеху.

Директор сам проводил до холла с розовыми колонками и живописным панно — с горной козой над пропастью, почтительно простился, придерживая ее руку, и опять заверил, что приятные результаты не замедлят. И вдруг восторженно отозвался о ее милых песенках. Ну, да... он слышал ее на днях в русском оригинальном кабарэ — «Крэмлэн д-Ор» и был участником потрясающего ее успеха.

— Все обожают вас, называют единодушно — «птижоли росиньоль дю Нор»... сколько у вас поклонников, и каких! — сказал он сладко, открыто любуясь ею, шаря по ней глазами, — это она заметила, — и склонился изысканно и низко, до огненной красноты в лице. — Отныне стало больше еще одним.

Это ей не понравилось, — такое страшное, с пустяками! — но она постаралась улыбнуться налившейся его лысине и сказала молящим взглядом:

— Доктор... умоляю вас, позаботьтесь о моем муже!

Он снова ее заверил, что будет применено все решительно, чем только располагает медицына, у них теперь самый совершенный метод пневмо... — Ирина не поняла, в расстройстве, — и отныне он будет ежедневно сам сообщать ей по телефону.

На подъезде она увидела Микаэлу, с платком у глаз, о чем-то просившую шофера, вспомнила, что она завтра уезжает, что она «самое лучшее, что здесь есть», нежно ее утешила и сунула двадцать франков — «за ее чуткую заботу о ман-сиере капитэне». Микаэла взглянула на нее по-детски, бархатно-черными глазами, в блеске горючих слез, и прошептала всхлипами — «мадам... мадам...».

— Ну, милая... ну, Господь поможет... — сказала ей Ирина, сливая ее боль со своей.

«Боже мой, сколько горя... — думала она, остро чувствуя свою боль, спотыкаясь на гравии площадки, — ах, на автокар не опоздать бы». Обернулась, не видно ли веранды. Виктор махал платком. Она грустно послала поцелуй и покивала грустно, торопилась: автокар призывал гудком к отъезду. Из главного салона, где теперь пили сливки, грамофон наигрывал под танцы истомно-пряно — «Не счесть алмазов в каменных пещерах»...

Ее перепугало это — «будет применено все решительно, чем только располагает медицына», и она опять плакала дорогой.

В Баньер дэ Бигорн она пересела в поезд. Как легко было ехать т у д а, и как томительно возвращаться в одинокую комнатку отеля. Тарб, пересадка в По, Ортер... потом этот еще... Пейреорад, Байона, Биарриц... как длинно! И все же, ехать легче, чем там, одной. Она достала свежий платок из сумочки, увидала знакомый, милый почерк. Да, т о письмо, испаночка...

Она читала:

«Здравствуй, моя толстуха-женка... ну, как ты там? Шли хорошо, твой старик молодцом, выпили с ним здесь джину. И Педрошка здорово по парусам. И все у нас горит. Взяли на Бордо каната и 5 тонн сушеных фруктов, калифорнийских, полны. Из Бордо будет тебе гостинец, уж сыщу, «лионский». Чортов карбит бесит старика, он привык к маслу, огни опознавательные намедни сгасли, не карбит, а чертово г..... Чуть нас купец не срезал, входимши в порт. Старик здорово накостылял мне: выдумал карбит, нет вернее

масла! Жульнический карбит, приеду, покажу подлецу Мигуэльке, чего он мне отсыпал. Небось скучаешь. Ну, погоди, я тебя развеселю» . . .

Дальше стояла песенка:

Ах, мой милый, чернорылый,
Хочешь спелый апельсин?
Молодайка, отгадай-ка,
Дочка будет — или сын?

Ирина задохнулась: билось сердце. Вот уже две недели мучило ее сокровенное, — радостное и страшное, - тайна, еще неясная ей самой. Господи, неужели — это? Ни на минуту не забывалось в ней. Сколько усилий стоило не сказать. И теперь ей казалось страшным, что она так и не сказала. Ему — не сказала. Но как же это могло? . . Это тогда, в августе, встретил ее на берегу, в чудесном, розовом, «весеннем» . . . и не узнал. Розовый отель на берегу, «Пти Пэн» . . . кутили . . .

Молодайка, отгадай-ка,
Дочка будет — или сын?

Читала дальше:

«Ми Уника» наша, будто живая чайка, прыгает на волне — ух-ты, так сигает, как ты, помнишь, как я за тобой гонялся, маис-то помнишь? Как не помнить тебе, заполучила здорово, теперь с нагрузкой, такая же брюхатая, как шхунка, за фрахт здорово получим. Старик твой хоть и здорово сосет джин, а мы с ним, как за святым Петром, море знает, как ты свои горшки-плошки. Карбит только не задался, да купим новый. Завтра на Бордо, там заберем галантери, парусины, чего найдем . . . старик знает, чего знает, так обернем, что кара-

бинеры-черти . . . . . . а тебе добуду таких духов, из самого Парижа! Говорят, такие есть духи, что монахи на стенку лезут . . . надушишься, до самого Мадрида донесет . . . будет дело! И Микаэлке купим, туфли парижские, пятки оттопает, ногу бы только не сломала, каблучки во-какие! В Бордо проканителимся дней десять, как раз и пибаль прихватим, начнет ловиться, ночи-то потемней пойдут. До пибали в Мадриде много охотников, лучше закуски нет. Прожарим в масле, спрессуем, крепкая же замазка будет. Кило 30—40 заберем. В Мадриде можно спустить по 20 пезет, а то и по 30, а по берегу скупим по 10, ну по 12, денежки верные, вот они! Говорят, лучше русской кавьяр, кто ел. Попробуем . . . Ты и не нюхивала пибали, а это ребятенки-угорьки, чисто иголочки, насквозь видно, будто стеклянные, старик все знает, дошлый. Ну, а пока целую тебя взасос и во весь мах. Завтра идем на Бордо, только бумаги выправим, отштемпелюемся. Лупил твоего старика, зачем ты мне такую Мануэльку подсунул, с первого разу на мель села, а он мне — «ты ее посадил, не умеешь лавировать, надо бы верхний парусок закрепить, а ты . . . .» Ну, другой раз суме-ем . . . на якоре покачаешься . . .»

Этот «человеческий документ» растрогал Ирину нежностью, которая в нем светилась. И сжалось сердце, как вспомнила, что уж и нет никого из н и х. Томительно-тревожно, в равномерном выстукиваньи колес звучало —

Молодайка, отгадай-ка,
Дочка будет — или сын?

. . . Бу-дет-бу-дет-бу-дет-будет . . . Боже мой, что же будет? . . Ей представлялось страшное. Пылким воображением она надумала всяких ужасов. Белый балахон

Виктора, залитый алой кровью, оставался в ее глазах. Она вспомнила «Таганаш», и теперь Виктор ее хрипел, озираясь померкшими глазами: «дышать... дайте...» Так это было страшно, что она не могла сдержаться, охнула и закрыла лицо платком. Сидевшая рядом с ней пожилая монахиня, в синей юбке и с белокрыльем на голове, участливо спросила:

— У мадам горе?

Ирина схватила ее руку и, приникнув к ее плечу, вздрагивала в немом рыданьи, — нервы совсем разбились. Монахиня сидела неподвижно, молча, не тревожа расспросами. Рабочий, в плисовых штанах, вымазанных известкой, скручивал сигаретку, раздумывал, оглядывая элегантный наряд Ирины, шелковое плечо ее, на котором переливались-дрожали складочки.

— Ничего... придет и хорошая погода... — сказал он к окну раздумчиво, будто с самим собой.

Ирина пришла в себя, помахала в лицо платочком, осмотрелась.

— Извините, матушка... — сказала она монахине, смущенно, — я так расстроена...

— Господь с вами. Хотите капель успокоительных, есть со мной?

Ирина поблагодарила, отказалась. Рабочий сказал — это ничего. Ирина смущенно улыбнулась, и тот улыбнулся ей. Ей стало легче, и она поведала им доверчиво, какое у ней горе.

— Это, мадам не горе, — сказал рабочий, оглядывая лакированные ее туфли и шелковые чулки, телесные. — Если бы помер, тогда горе. Да и молодая вы, недурны собой, и денежки, может, есть... другого себе найдете. Горе... это другое дело, поправить когда нельзя. У меня вот отец, сошел с ума... и все сбереже-

ния в печке сжег! семьдесят тысяч в билетах было!.. Вот это горе, уж поправить никак нельзя... и номера не записаны, я справлялся, к нотариусу ходил, а он говорит, конечно... ничего поделать нельзя! Главное, если бы номера были записаны, на актовой бумаге... а то никак нельзя. Вот это го-ре.

Плюнул на сигаретку и задавил. Ирина стала смотреть в окошко. Монахиня молчала.

Сходя на пересадке, Ирина подала ей десятифранковую бумажку, на общину, — помолиться о болящем Викторе. Монахиня ласково кивнула и погладила по плечу. И стало совсем легко, тяжесть с души упала: сняла ее молчаливой лаской неведомая монахиня.

Ирина не написала мужу о самом важном. Она боялась, что и то, что пришлось написать ему, может его встревожить. Тайн у ней не было от него, но теперь, когда нужен полный ему покой, сообщать о встрече с иностранцем, о волнующем разговоре с ним, — решительно было невозможно.

Кончив письмо, она долго сидела и думала о «странном» человеке. Ей было его жалко, и было тревожно на душе. Но что же дальше... что она может сделать, и чем помочь? Она не знала.

После «истории» в «Крэмлэн д-Ор», — это было на пятый день, — Ирину позвали к телефону: просили «артистку Снэшко», звонили из первоклассного отеля. Горничная сказала название отеля подобострастным тоном: в этом отеле останавливались короли и принцы, магараджи и самые важные особы, даже не все министры. Никогда из этого отеля не звонили, — никто не помнил. Когда встревоженная Ирина сошла к телефон-

ной будке, поджидавшая ее хозяйка мадам Герэн, по прозванию «О-ля-ля», — всегда она сокрушалась о чем-нибудь, — таинственно зашептала, закинув рыжие брови под самые кудряшки, от чего ее кислое лицо стало еще кислей, — «мада-ам Катьюнтзефф... вас вызывают из... из ..... — отеля!..» — с таким оглушенным видом, точно это звонил сам господин президент республики, или, по меньшей мере, министр финансов. Ирину она считала дамой высшего общества и была искренно опечалена, не найдя в ее карт д-идантитэ ни «прэнсэсс», ни «контэсс», ни даже «дэ». Но рассказывала соседям, что убитый большевиками отец мадам Катьюнтзефф занимал очень высокий пост в России, имел «золотые земли» и все «мины», и когда уйдут «эти большевик», мадам Катьюнтзефф будет самой богатой во всем свете. Она сама отворила Ирине дверцу будки и, таинственно пошептав, — «вас, мадам, никто не потревожит», закрыла осторожно и отошла на цыпочках.

Ирина была взволнована: ей вдруг представилось, что с Виктором случилось что-то ужасное, и ее вызывает директор санатория.

— Алло... — упавшим голосом сказала она в трубку, как в черную страшную дыру, и услыхала, как тукается сердце.

В трубке тревожно зашуршало, задышало.

— Алло?.. нервно окликнула Ирина, глотая воздух, — у аппарата Снежко... кто меня спрашивает... это откуда, из санатория?.. господин директор?..

И вспомнила, что это из важного отеля, и сейчас же себя поправила, пугаясь, что директор мог сам приехать и позвонить.

— О, Боже мой... алло-о!.. я слушаю...

— Гм... — тяжело задышало в трубке, — вы... говорите по-английски?

Говорил глуховатый голос, одышливый, с ужасным произношением, — у директора был жирный и мягкий голос, кокетливый. У ней отлегло от сердца, и сразу озарило, что это — т о т.

— Да, говорю, — сказала Ирина по-английски, — кто говорит... что вам угодно?

Э... говорит Эйб Паркер, из Торонто... — в трубке опять заскрежетало, — Алло! вы слушаете?

— Да... я не понимаю, что... откуда — из Торонто?..

В волнении ей представилось, что говорят из какого-то Торонто, — что-то далекое.

— Говорит Эйб Паркер из отеля в Биаррице... — ответил голос мягче, слышалась в нем улыбка, — а Торонто... это мой город, откуда я. Прошу прощения... позвонил обеспокоить вас... но я сейчас объяснюсь. Видите... я хотел бы... вернее, мне очень важно... просить вас, где-нибудь с вами встретиться...

Ирина хотела повесить трубку: подобное не раз бывало. Она сказала раздраженно-резко:

— Вы ошиблись. Я не встречаюсь с незнакомыми людьми, прошу оставить меня в...

Голос возбужденно перебил:

— Это совсем не то!.. уверяю вас, это... вы поймете, когда я объясню. Я отлично понимаю и прошу извинить, но... это так трудно все объяснить по телефону. Одну минутку... прошу вас... я сейчас, как это?.. я сознаю неловкость, и мне теперь так стыдно, что так сразу, но... я чувствую, вы меня извините, когда я...

Мои намерения совершенно другого рода, совершенно другого!..

Голос был искренний и — показалось Ирине — грустный. Она сказала:

— Я совсем вас не знаю... и так странно... о чем нам говорить? Я решительно отклоняю, это совершенно...

— Позвольте мне сказать. К вам я отношусь с глубоким уважением... и так и думал, что вы так мне и скажете, что... прошу встретиться! Не был вам представлен, и... Но вы меня поймете и извините. Только разрешите говорить с вами откровенно... я привык откровенно, и всегда... Дело вот какое... Правда, дело это личное... к вам никакого отношения, хотя есть одно... Уделите только две минутки, и я постараюсь вам ясно... хотя это трудно ясно в две минутки... но вы поймете... Бывает...

«Должно быть, пьяный, — подумала Ирина, слушая путаную речь, прерывавшуюся вздохами и хрипом, — повешу трубку?..»

—...бывают такие состояния... душевные переживания, когда отходят эти... условности... и когда все уже не имеет значения. И вот, такое у меня... Я... сколько вас слушаю, как вы поете, и чувствую, что...

«Нет, сейчас повешу... невозможно... пьяный»...

—...вы не можете не понять... чувства... когда у человека... Это не объяснение в чувствах, а я про душевное состояние, вне вас. Хотя, конечно, не вне вас, но... Я не из тех, каких здесь много, и ничего не добиваюсь. Я прямо: вам я посылал цветы, как посылал бы дочери... от искреннего сердца, поверьте мне! И еще... но тут самое важное, о-чень важное... для меня.

«Что за чушь! — подумала Ирина, раздражаясь, — несомненно, пьяный» ...

Она сказала резко:

— Извините, я прекращаю этот странный разговор ...

— Ни в каком случае! .. прошу вас! .. — воскликнул, прерываясь, голос, — вы ошиблись! уверяю вас, что вы ошиблись, подумали, что я ... Я потому так, что з н а ю вас, и потому ...

«Надо было давно повесить» ... — подумала Ирина, и все же не повесила:

— Как вы можете меня знать?

— Это трудно объяснить, но я вас з н а ю. Я умею разбираться в людях, и понимаю, что вы не певица из кабарэ, и ... но это теперь трудно, и ...

— Для посещающих наше кабарэ, я только «певица из кабарэ», и прекращаю этот странный разговор! .. — оборвала Ирина, задетая этим — «певица из кабарэ».

— Я вас оскорбил? но чем же, чем?! .. — воскликнул голос, и она почувствовала в нем горечь.

— Нет, вы меня нисколько не оскорбили. За цветы благодарю ... и верю, что это из чистых побуждений, как и ... та дикая история. Кажется, я не ошибаюсь, это вы тот иностранец ... который «боксом»? .. — спросила она насмешливо-певуче, и тут же рассердилась: «зачем я это! ..»

В трубке заскрежетало, задышало.

— Да, это я. Но почему вы говорите — «дикая история»? разве вас это оскорбило? Правда, я реагировал поспешно, но ... я н е мог! .. Бывают обстоятельства, когда ...

— Я понимаю, что вы не хотели оскорбить меня ...

и я ... — она подыскивала слово, — и меня, правду сказать это даже тронуло, этот ваш «жест» ...

— Видите, вам передалось мое ... — перебил голос, — мое ... нет, не чувство, а ... мое ... состояние. Иногда такой «жест» необходим. Я не выношу, когда в моем присутствии, и ... И, главное, почему так вышло? Одну минутку ... Смотрел я тогда на вас, и вот, подумал, ясно себе представил: а вдруг бы это? .. Ну, да ... я вдруг подумал: «а что, Эйби ... если бы это была твоя Мэри ... девочка твоя! ..» — в трубке закопошилось, захрустело, — «как бы ты поступил?» Ах, сударыня ... надо знать. Вы слушаете?

— Да слушаю ... вы говорите — «надо знать». Говорите, говорите ... — отозвалась Ирина.

— Да, надо знать все. Но сейчас трудно вам объяснить в двух словах. Это очень сложная ... сфера чувств. Передалось мне ... чем-то, звуком вашего голоса, вашим ... чувством ... что вы можете все понять! Ну, как объяснить, например, что человек ... простите, я должен говорить невольно о себе ... человек всем обладающий ... в материальном смысле ...

«К чему он это? ..»

— ... в массе дел, в кипении этом ... деловом, когда ни минуты не остается для себя ... и вдруг, все бросил и оказался ... в п у с т о т е? Я чувствую, как странно вам слушать в телефон такое, и от человека, совсем вам неизвестного. Действительно, со стороны, это очень странно, и вы могли бы принять меня за не совсем нормального или, даже, за ... пьяного или дурака. Простите, что я так грубо ... Правда, я, пожалуй, что и не совсем уравновешен. И сейчас мне ясно, как неосторожно, нетактично я поступаю, что вдруг решился и позвонил вам, не имея на это никакого права. Но

был момент, когда мне это совсем не казалось странным и нетактичным... И это, может быть, так и есть, так и нужно было... тогда мне это казалось самым важным, безвыходно-необходимым. Я не наскучил вам? Благодарю. Но почему я решился позвонить вам? Мое письмо вы оставили бы, пожалуй, без ответа... наверное бы оставили, насколько я вас знаю. И в письме не скажешь... Случается такое в жизни, что никак не передать в письме... в письме могло бы показаться, ну, бредом! Тут как раз такое, как бред... такое... совпадение!

— Простите, — перебила Ирина нервно, — я не расслышала... вы сказали, мне показалось, «совпадение»?..

— Да, совпадение. Но тут нельзя... это, как в письме... об этом надо лично. Надеюсь, вы мне поверите, что это не пустой предлог, не выдумка. Тут я не могу даже коснуться этого... по телефону... — голос упал до глухоты и стал невнятен. — А пока я должен... Позволите? Благодарю вас, я так и знал. Видите... я вас слушал, много слушал, проверял себя... У меня и сейчас звучит в душе мотив, тот напев... как вы поете, про снега. В программе напечатан перевод. Я понимаю, это не то, конечно... но я все понял. Мне снега хорошо знакомы по Канаде. Все снега, снега, и... как это выразить?..

Ирине показалось, что в трубке сухо щелкнуло, будто говоривший прищелкнул пальцами. Она шатнулась, чуть не выронила трубку, забилось сердце: этот щелк, за этими словами — «как это... выразить?..» — и этот голос, с напряжением, исканьем слова, напомнил ей отца, его гримасу, глаз с прищуром, запах его духов и

белые, сухие пальцы... — «ну, как это... Ирок?..» — бывало скажет, забудет слово.

— ...как это?.. — опять прищелкнуло. — Да... и не перейти эти снега, не пройти через них... к родному! Так я понял, верно? Ну, вот, я понял. И не услышать больше, никогда не услышать... родного голоса... ни-когда! Ваш голос... я так запомнил!.. было легко запомнить... милый голос!.. Вы простите, это не вольность, не лесть, не... комплимент... вы все поймете, когда я... все!.. Что же вы теперь мне скажете? Не сейчас, я понимаю, я готов долго ждать, я не смею и не могу вас... это в вашей воле. Когда вы захотите мне ответить, можете меня вызвать, я дам номер...

— Погодите... — оборвала Ирина нервно, ища решения.

Она почувствовала в этом необычном разговоре что-то... не больное, не пошлое, — что-то, идущее из сердца, к сердцу. Эти слова — «твоя Мэри, девочка твоя», — сказанные так горько-нежно, остались в ее сердце.

— Вы слушаете?.. Я вам отвечу... сейчас...

В ней не определилось, чего-то не хватало.

— Ах, да, кстати... — сказала она не прежним холодным тоном, чуть свысока, а своим голосом, домашним, точно говоривший был ей знаком, — вы послали мне белые цветы недавно, орхидеи... и в них... — почему-то она не захотела сказать — «веночек», — незабудки, и вырезано на плато «Свет во тьме». Мне сказали, что это вы. Меня это заинтересовало, — так это нешаблонно. И удивило, — что это значит? Что вы хотели этим...

— Выразить? Это объяснить и просто, и... непрос-

то. Просто, это — от вас мне *свет*. Но это, я подчеркиваю это, *не* комплимент, не... это очень сложно. Когда вы узнаете *все*, тогда вы все поймете, почему я так... Мне так легко с вами говорить. Вообще я не умею много говорить, и отвык я говорить теперь. Я вырос в лесах, мало общителен, такой характер. А с вами разговорился, и мне легко. Простите, все о себе я... и сам себя ловлю на мысли: ну, какое дело до тебя, до *твоего*? Я чувствую, что вы сами отличнно поняли, что вы — свет, и — *светите*. Не принимайте это за лесть, слишком мне не до этого, поверьте. Но так я чувствую. Я весь свет объехал, все бросил... а *света* так и не увидел. И вот, где уж никак не ожидал, и — *свет*. В этом и главное, почему мне необходимо объясниться с вами... Простите, — не объясниться, а высказаться...

— Но вы же все объяснили, и я себе не представляю, почему вы ищете встречи со мной? Говорю вам совершенно откровенно, это для меня стеснительно, и... непонятно. Ну, прекрасно, я очень рада... песня наша дошла до сердца иностранца, что-то в нем всколыхнула... Потому и песни, чтобы до сердца доходило. Вот мы и объяснились. А дальше... очевидно, *личное*. Согласитесь, что я не в праве... Еще я вам должна сказать, что мои отношения с внешним ограничиваются моей семьей... помимо, конечно, выступлений в кабарэ, — и только.

— Да, я знаю. Я знаю, и уже сказал вам, что я вас *знаю*. Но я прошу вас сделать исключение, и снизойти... Если бы вы все знали, вы снизошли бы. Вы чутко угадали, что — личное. И я знал, что так вы и поймете... и в то же время я сознавал, что моя навязчивая просьба покажется вам странной, неделикатной,

даже двусмысленной. Ну, назовите меня «странным», только скажите откровенно, считаете ли вы меня... как это... — в трубке опять пощелкало, — ну, «веселым иностранцем», что ли, каких здесь много, или почтите меня доверием, чего, конечно, я не заслужил?

— Во всяком случае, вас я не считаю «веселым иностранцем», — ответила Ирина, — но «странным» — да.

— Благодарю за откровенность. Но что же остается? Значит, есть что-то, что заставляет меня так... «странно» поступать. Бывает, когда привычное, нормальное, отступает перед чувством... перед чувством вообще, не в личном смысле, и уступает «странному». Это как раз мой случай. Если вы мне поверите, держу пари — вы скажете: так же поступила бы и я. Я прошу у вас какой-нибудь час, в сомнительное положение вас не поставлю... если верите, назначьте час и место, где вам угодно. Я понимаю, не здесь, конечно, где вас все знают. Откажите... что делать, покорюсь.

Голос поник, и в трубке тяжело вздохнуло.

У будки ждали, видела в стекло Ирина. «О-ля-ля» вскидывала бровями, разевала рот, — упрашивала потерпеть. Прерывали не раз со станции. Это Ирину волновало. Голос окликнул:

— Алло!.. вы у аппарата?

— Да, сейчас...

Надо было решить сейчас же. В крайние минуты Ирина находила выход, — не рассуждением, а сердцем. Она зажмурилась и вопросила, глубоко в себе: ну, как же?..

— Хорошо. Завтра, в четыре часа, в Байоне... аркада, у театра. Если не задержит что-нибудь важное, встретите меня в конце аркады, к проезду... где машины.

— Благодарю.

Ирина положила трубку. Кто-то из ожидавших ворчнул — «нельзя так долго висеть на аппарате», — не из русских. «О-ля-ля» шепнула льстиво:

— Двадцать три минуты говорили... интересный ангажемент, мадам Катьюнтзефф?

— Нет, мадам Герэн, не ангажемент... — ответила Ирина, даря улыбкой.

Пошла и услыхала льстивый оклик:

— Ваш платочек, мадам Катьюнтзефф...

«О-ля-ля» протягивала ей платочек, который Ирина обронила.

— Что-нибудь очень интересное, мадам Катьюнтзефф?

— О-чень, мадам Герэн.

— Я всегда рада, когда моим жильцам везет. Столько вы испытали грустного, мадам Катьюнтзефф... о-ля-ля! На два словечка, мадам Катьюнтзефф... Это уж против правил, но я так вас уважаю и...

И под секретом сообщила, что справлялись о мосье и мадам Катьюнтзефф. От комиссариата часто наводят об эмигрантах справки, боятся, не большевики ли. Но на этот раз агент был частный, — возможно, что и от нотариуса, или от адвоката... это бывает, в случае, например, наследства. Мадам не ждет наследства? Ну, так обо всем справлялся... как живут, сколько платят за апартаменты, каких лет, давно ли, даже — какой характер у мадам... ну, обо всем решительно.

— Я его наводила, осторожно... от кого, мосье? может быть открывается наследство? Сказала, что у мадам в России остались несметные богатства, золотые земли, шахты, заводы... первые были богачи... мне

мадам Белокурофф много рассказала про вас, мадам, у ней тоже были золотые земли, вся Сибирь! Но они все плуты такие, не скажут прямо. Только и сказал: это большой секрет... возможно, что и наследство. Разумеется, я дала о вас с мосье самые лучшие аттестации... сказала, что мадам великая артистка, а характер... ну, прямо, ангельский характер! Не правда ли, мадам Катьюнтзефф? А мосье Катьюнтзефф — русский комбаттан, очень тяжело был ранен, в самую грудь, и сейчас в санатории, в Пиренеях. Жаль, я не знала, какой это санаторий, вы мне не говорили... Самые аристократы, и самого высшего воспитания... не правда ли, мадам Катьюнтзефф? Но теперь... о-ля-ля!.. большевики все у них ограбили, и положение их... нелегкое, мосье шофером, а мадам поет с эстрады... и наследство бы им очень пригодилось... не правда ли, мадам Катьюнтзефф? Если бы вам выпало наследство... о, как бы я была за вас счастлива, мадам Катьюнтзефф!

Не сказала только, что за справки получила необычно много — двадцать франков!

Ирина поблагодарила добрую мадам Герэн. Эти справки ее встревожили. Кто же это мог справляться... «частный»? какое кому дело до?.. Да уж не *он* ли? — подумала она об иностранце, и вспомнила, как он не раз подчеркивал, что ее знает... так твердо: «я вас *знаю*». Но что ему за дело? Этого не доставало, точно из авантюрного романа, сы-щик... совсем по-американски.

Это и встревожило ее, и оскорбило.

Угол комнаты, где висела папина иконка св. кн. Александра Невского, — Ирина с ней не расставалась,

— и портрет отца, в венчике из терновника, — давний мамин, с маленькой Ириной на руках, «домашний», висел над ее постелью, в крепе, — был заставлен усыхавшими цветами. Над сомье Виктора смотрел казацки-остро скуластый генерал Корнилов и, умно-близоруко — Чехов. Висели еще памятки боев: побитый цейс, темляк и покоробленная полевая сумка — целлулоза в коже, с «трехверсткой». Ниже, под гирляндой увядших орхидей, мутно-серебряно глазело круглое плято американца, неприятно напоминая «историю».

Возвратясь к себе, Ирина увидала этот глаз, за ней следивший. Ее кольнуло: как-то сплеталось это с согласием, которое она дала американцу. Эта «штука», как говорили знающие, стоила по крайней мере тысяч десять, судя по фирме — Рю де ла Пэ! — «в трудную минуту, — говорили, — можно и загнать, тыщонки за две». Ирина сняла плято и спрятала. Кололи мысли: неужели это... и «сказочные» миллионы могли тут значить?.. Но это как-то связывало волю, неуловимо подавляло. Она раздумалась: а если бы не этот, а другой, обыкновенный... согласилась? Не знала. Вспомнилось — «Свет во тьме»... и сказанное искренно, с волнением, — «а что, Эйби... если бы это была Мэри... девочка твоя?..» Нет, это тут не причем: если бы и обыкновенный, всякий, — все равно... свободней только. Папа, бывало, говорил, чтобы «душа жила». Мучило еще, другое — тайна. Тайн у ней не было от мужа, а теперь... И в этом она невиновата, и — Виктор чуткий. А вдруг... уловка? Бывало разное. Часто ей посылали письма, или нащупывали взглядом: как?.. Письма она рвала, не сообщая Виктору. Бывали явные нахалы, — эти отступали перед взглядом. Бывали пробы через посредников. Был случай...

«сделки». Некий «эндюстриэль», даже фамилию проставил, — нотариуса только нехватало! — писал: «в вас я встретил как раз то самое, что надо: созвучный sex-appeal. Мои условия: кокетливая вилла в Канн, все на ходу, Peugeot 40 Cv. последняя модель, 20 т. фр. в месяц, гарантия minimum 6 мес., возможно и продление, по соглашению. Если подходит, благоволите сообщить немедленно». Решительная подпись и точный адрес.

В дверь постучали:

— Можно? . .

Не дожидаясь, можно ли, стремительно вошла — только на одну минутку! — Саша Белокурова и сразу затомила болтовней, духами, «египетской».

— Муженек как? . . Ну, слава Богу. Вот счастливица, все-то тебя любят, а я . . . Можешь себе представить, дурак-то, из ле-Буки, Акинфов, прожженный казачишка . . . предложение вдруг сделал! — «Ступайте за меня замуж, Ляксандра Ивановна, буду вас го-лубить, а вы мне песни играть». Вот до чего, милая моя, спустились. Вот уж прожженый-то . . . и в Ле-Буке ганьит на заводе тыщи полторы, и у нас балалайчит лихо, и домишко сам себе слепил! А намедни, ужинаю с русским американцем, глаз у него косой . . . он и голландец будто . . . да какой он шут, американец, просто жулик, надрал золотого лыка за войну, — вдруг мне и говорит: «вы так похожи на Венеру Миловскую» . . .

— Милосскую.

— Я и говорю — Милонскую, а как же? «Главное, — говорит, — вы натуральная, а не какая-то ли-ния!» И вдруг, можешь себе представить . . . — «езжайте со мной в Россию-матушку, там и «закснем»! Плеснула ему в рожу, утерся только. Уж извините, не продаю себя. Ух, тощища . . . Маме вчера послала через Земгор,

братишку-Мишутку в красную забрали... уж ноги у мамы опухают, на сердце жалуется, должно быть так и не увижу... только и осталось, мамулечка...

Она утерла слезы рукавом, по-бабьи.

— Да не могу не плакать... реву и реву все дни. Думают, веселая я... а я... будто никакая, случайная. И никто не любит, смеются... «семипудовая гусыня»!.. Наши казачишки-подлецы, я знаю. А чем я виновата, что так дует? И тоска грызет, а все толстею. Только и радости, что к тебе прибежишь, душу отведешь. И тебе со мной, знаю, скушно... минутку посижу только, дым я в окошко, ничего. Привыкла к этим — пьяным, англичаны выучили, легче как-то. Вот ты... счастливая какая, а куксишься. И муж хороший какой, как любит, да и все... И что за секрет в тебе! Денек не повидаю, так и рвусь... милочка-красавка. Смотрю вот... и нет в тебе, словно, правильной красоты, класиченской... а самая красота, для сердца! Глазки персидские, с разрезом... «дипломат» все так говорит, дурак-то наш в черкеске, ну — бирюза живая! А бровки... — вот я чему завидую, твоим бровкам!.. разлетные совсем, как крылышки, будто летишь, как взглянешь... все личико сияет... ах, красавка!

— Будет, уж захвалили, Александра Ивановна, — сказала Ирина утомленно, — а как у вас с Парижем?

— Да что с Парижем... а все-таки думаю поехать. Ресторан громкий, всегда полно, а тут вся шушера скоро начнет смываться, и с моря скушно... а там у меня «сердешный», на Рено, поручик мой голубчик. Пишет все, под две уж тыщи ганьит! Возьму да и закреплюсь навеки. Кончено с моей карьерой, уж тридцать годочков скоро. Бывало, первой хористкой была в Большом... А в Сибири, Юдифь я пела... в семнадцатом,

в Иркутске! .. Уж вот выигрышная-то партия! .. Рост у меня, фигура статная, ручищи натерли краской, тут золотые бляхи... за волосы ухватишь олофернову башку... — вспрыгнула она на сомье и оглушила: — «Во-от голова Олофе-эрна-а! в-вот он, могущий воитель! ..»

Ирина улыбнулась. Голос у Саши Белокуровой был очень сильный, фигура «героини», нос только подгулял — курносил, глаза — огромные, пустые, чуть с глупинкой, но добрые. Кто она, откуда, как «запела»... — не знали точно. И сама не знала: «так как-то... тенор услыхал, на огороде, под Девичьим». Рассказывали, что сама Фелия Литвин пророчила ей славу, и подарила портрет с сердечной надписью. Коронным ее было — «В селе Новом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил». Нравилась иностранцам — «настоящей славянской красотой», и они охотно приглашали ее поужинать. Но была очень строга к себе, и единственная ее любовь — «поручик», которого никто не видел. Часто ходила в церковь, молилась на коленях, со слезами. Могла отдать последнюю копейку, кто ни попроси. Ее любили.

— Разок бы хоть сказала — «ты, Санечка»... Мама, бывало, приголубит, только... — «бедные са-ночки мои... и куда-то они пока-тят»... — все так, бывало. Вон куда докатили «са-ночки»! .. А я, если уж полюблю кого, никак не могу уж вы-кать. Я ведь необразованная, знаю свой ранг, а образованных страсть люблю. Поручик мой голубчик, вот какой образованный, как с Рено своего придет, все в книжку, Бога отыскивает. Давно меня зовет — приезжайте, Александра Ивановна, наполните мою жизнь духовным содержанием... Вот и ты тоже говоришь — почему не еду? Да

боюсь, ску-шно будет. Я веселых люблю, а он будто в монахи собирается. А чего Бога отыскивать? разве Он в книжках, Бог-то! Пойди в церковь, затаись в уголочке, вот и Бог, сразу почувствуешь. Как я ребеночка хочу ... пятерых бы, кажется, сродила, стала бы обшивать-обмывать, питать ... а муж бы радовался ... чай бы пила — сидела, на даче бы с парусиной, и цветочков бы насажали, жасминцу-бы ... и огород непременно завела бы, папаша огороды в Москве снимал, спаржа была какая, прятались даже в ней ... Акинфов вон говорит — «все заведем, Ляксандра Ивановна, и спаржа будет, и тераску пристрою вам, будете чай кушать с мармеладцем, и арбузы какие будут ... Первая балалайка наша! Казаки — они прожженные, все умеют. Да ... что слышала сейчас, Геранька твоя меня поймала, заолялякала ... — из « ... — Отеля» тебе звонили? на телефоне чуть ли не полчаса висела ... это не «носорог» звонил, а? Ну, ни одной душе не скажу, как умру ... по глазкам вижу, что «носорог» ... ну, вот ей-Богу, не скажу ... Да, нет, ты мне все-таки скажи, я тебе присоветую, они прилипчивые, а ты отгрызаться не умеешь ...

Ирина старалась улыбнуться.

— Вот и не угадали ... Это мне директор санатория звонил, где муж.

— Неправда, по глазкам вижу ... как же он из « ... — Отеля»? там миллионеры только ...

— Ну, я не знаю ... может быть вызвали к больному, это известный доктор. Ну, и ... очень обстоятельно сообщил, что ... опять делали рентгенизацию ... все хорошо, но советует подержать еще, для окончательного ... На-днях поеду туда, тогда решим ...

— А я-то подумала, что э т о т.

Постучала горничная: просили к телефону, из санатория. Ирина побледнела, заметалась. Доктор звонил обычно часов в восемь, с мужем говорила она утром.

— Родная моя, лица на тебе нет... — обняла ее Саша Белокурова, — увидишь, все будет хорошо, дай, перекрещу...

Вышли вместе. Саша Белокурова сказала, что подождет:

— Нет, нет, я не могу тебя оставить, такую... ты и меня разволновала. Ну, ступай, Господь с тобой, все будет хорошо.

Звонил директор санатория. Ирина переполошилась:

— Что с мужем?.. Ради Бога...

...Ну зачем же так... надумывать всяких ужасов! Позвонил раньше обычного? Просто так случилось... а, какие нервы! Все прекрасно. Определенно выяснилось, что «тело» инкапсюлировалось, и с этой стороны всякие опасения отпали. И вообще, нет показаний ожидать осложнений, если строго держаться предписаний. Сейчас, по телефону, он не может во всех подробностях... масса работы, все дергают, а он хотел бы лично переговорить обо всем детально, и главное — относительно дальнейшего лечения мосье Ка... Какая же трудная фамилия! Двадцать второго она будет... превосходно... но... —

— Завтра я как раз в Биаррице, у моих больных, милая мадам Ка... Простите, никак не могу выговорить! Без фамилии... прекрасно. И рассчитываю вас повидать и дать вам обстоятельный отчет... наш консультационный акт о положении вашего супруга. Ну вот, опять вы нервничаете... а, какая вы нехорошая!.. Уверяю же вас, ровно ничего серьезного. Успокойтесь, и дайте мне объяснить вам... О, какой же... пылкий

темперамент! вы, как... мимоза, «ноли ме тангере»! Надо, дорогая, и вас лечить... Уверяю вас наш вывод исключительно благоприятный...

— Да?!.. — воскликнула Ирина, — как я рада, милый доктор... Боже мой, как я вам горячо признательна!.. Я не нахожу слов, чем я могла бы выразить мою безмерную признательность...

— Ну, вот... что вы, милочка!.. это же наш долг... Для меня высшая награда — когда я вижу, что мои пациенты воскресают. Мне будет... поверьте, это не слова... если вы совершенно успокоитесь. И вы успокоитесь, узнав мой вывод, документально подкрепленный. Значит, так. Завтра я в Биаррице, у моих пациентов, задержусь, останусь завтракать, и был бы о-чень счастлив... около так часу... меня бы это очень облегчило, если бы вы соблаговолили со мной позавтракать... «У Рыбака»! Знаете, уютный старинный ресторан, угол рю...? Там превосходно кормят... и я сумел бы вам изложить... И так, буду вас поджидать...

Ирина не знала, что ответить. Завтра?.. Завтра в Байоне, в четыре!.. Неприятно отозвалось в ней — «уютный ресторан», и странно развязный тон директора. Не думая, она сказала:

— Завтра, к сожалению, я не могу...

— Да?.. так-таки и не можете?.. — чувствовался в тоне холодок, — как жаль, однако... Но, не будем сожалеть, я покоряюсь и переношу на послезавтра... идет?

Тон директора опять переменился, стал развязным. Ирина чувствовала, что директор ищет встречи. Вспомнила его глаза с маслинкой, как он ее ошаривал, его рукопожатия, «с оттяжкой», его слащавость, пошлова-

тость его манер . . . Но как же уклониться, не обидев? Подумала о «скидке», о затруднениях . . .

— Итак, условимся . . . — говорил уже приятельски директор, будто близкий, — послезавтра, около так часу, я буду поджидать вас, дорогая, «У Рыбака» . . . Разумеется, вы знаете этот «приют», где в с е бывают . . . старинный баскский оберж когда-то . . . всегда я в глубине там, мэтр д-отель вас проведет ко мне. Ваше вино какое? . . Я люблю заранее, чтобы аранжировать все ком-иль-фо . . . ну-с, дорогая? . .

Тон становился все развязнее. Ирина возмущалась, но мысль о муже . . . —

— Право, господин директор, я затрудняюсь . . . мне, право, не до завтраков . . .

— А, бросьте все ваши опасения, ми-лая . . . мадам! Поверьте же специалисту, что . . .

«Будет «поджидать» . . . «проведет ко мне» . . . нет, что за наглость! . .»

— Извините, но я никак не могу . . .

— Но почему же? . . почему же, дорогая? . . — настаивал директор.

«Дурак, и наглый», — думала Ирина. Эти — «дорогая», «милочка» — и как он смеет! . . — были ей оскорбительны, противны. Она сказала резко:

— Нет, я не могу . . . Ну, просто, потому, что . . . одна я не бываю в ресторанах!

— Но вы же не будете о д н а!

— Я буду в санатории, и мы переговорим . . . так мне удобней.

— Вот как . . . т а к вы мне доверяете . . . — голос остыл, замялся. — Ну, что делать . . . до свиданья . . . — в тоне почувствовалось раздражение. — Надеюсь, я вас ничем не . . . затруднил, мадам?

— Нисколько. До свиданья, господин директор.

Ирина вышла из кабинки раздраженной, бледной. Тревожилась о муже. Саша Белокурова спросила:

— Ну, как, ничего страшного? Что ты такая . . . гневная?

— Слава Богу, все благополучно. Только этот нахал . . .

Встревоженная, возбужденная, Ирина не могла таиться.

— И молодец, отшлепала. Так им и надо, петушишкам. Сколько уж я-то перевидала, им только дайся, сударикам-мусьюнкам. Мне бы с ним за тебя позавтракать, я бы ему устроила опрокидончик! В Париже со мной что вышло, в «Трезвоне», ты послушай. Компания сидела. Ну, пригласили меня к столику, нормально. Вот один, ихний ди-путат, персонистый такой, красная ленточка, как полагается, с онером. Натурально, начал нацеливаться, вижу. Слышу, коленку гладит, будто ему кошка. И немолодой, слюнявый, распустил губищи. Ногу отставила, думаю — что дальше будет? Не унимается. Разогрелся с шанпанского. А я шанпанского не обожаю, как чумовая делаюсь с него, глушит. Ногу закинула, отворотилась . . . за руку меня! Голая рука, как шелк . . . приятно показалось . . . он меня, повыше локтя, обеими граблями, и пожимает, будто ему мячик. А, думаю себе, ты меня за руку, а я тебя . . . За ногу его, под коленку пальцем, как дерну . . . да и закинула, он и кувырк со стулом. Хохот пошел, никто не понял, чего он так, тармашкой. Поднялся, распетушился, налился кровью, брыжжет . . . в амбицию! Я тогда плохо рассуждала по-французски, только алор да сава-бьянь, выразиться не могу нормально. Ну, скандал, наши подбежали . . . я и сказала офицеру одному знакомому: пе-

реведите господину дипутату: «вы ди-путат, а я артистка! и тут приличный ресторан, а не какое заведение... и вы можете меня и за ногу, и за руку, а почему я не могу вас за ногу? У вас и либертэ, и игалитэ!» Как ему перевели, пошел — утерся. Как уважали после! Выйду петь — кричат: «бис браво, опрокино-он!» Надоело, перешла в «Избушку». А там меня наша «ворона бородатая» в «Крэмлэн» сманила. Повидала, как нас голубят. Пою им, а сама думаю — «а, шушера-людишки!» — куль-тура, уж известно. Господи, только и молюсь — «дай, Господи, нашу Россиюшку увидеть!» Вытянем родная, ничего...

Ирина поцеловала ее нежно, как близкую-родную, и пошептала: «бедные са-ночки...» Саша Белокурова вся просияла:

— Вот и приласкала дуру... прила...

Обняла крепко-крепко, и не могла — заплакала.

Придя к себе, Ирина навоображала ужасов: как теперь будут обходитьсся с Ви, как бы не стало ему хуже... Упрекала себя, что отказалась, — обиделся директор, ясно. Ну что ж такого, позавтракать! Здесь это так обыкновенно, любезность за любезность, можно держать в границах, пококетничать... Нет, это невозможно. Если бы только узнал Виктор... — нет, поступила так, как надо. А теперь, что же может быть? Ровно ничего. Взяла бумажку и подсчитала, сколько по счету санатория. Если еще дней десять, то... За месяц содержания — три тыс. плюс «лабораторных» — девятьсот, еще за новое просвечивание, анализы... — около пяти тысяч. Наличность: четыре тысячи на книжке, около двух у ней... то платье, если полторы тысячи... плято, в лом только, если наспех, франков триста... нормальный ее заработок полторы тысячи,

сезон кончается . . . в Париж и не с чем. Ви необходимо отдохнуть . . . Так как же? . . Не стала думать. Ви лучше, ничего серьезного . . . а там — увидим.

Haldenstein.
Март 1938.